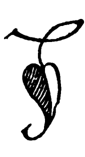

ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК
ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР
ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР



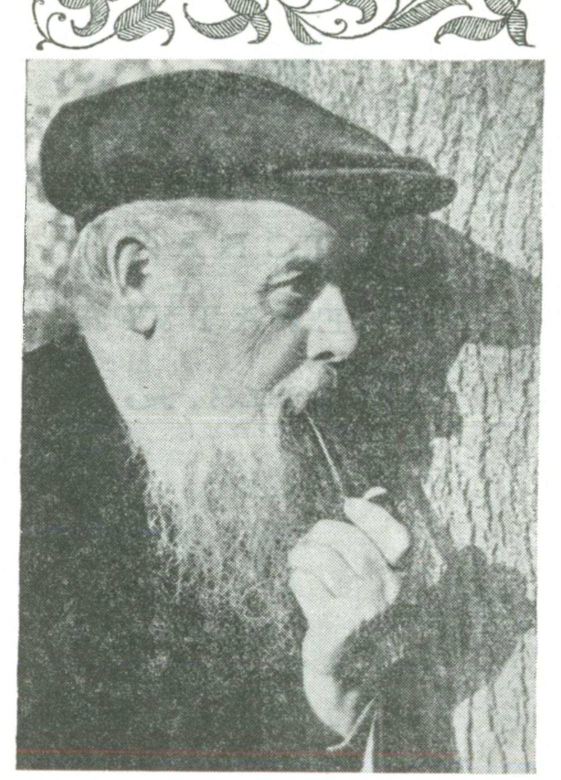




МОСКВА
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1978









ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК

ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПАВЛА БАЖОВА

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



ИЗДАНИЕ 2-е,
дополненное и переработанное

Оформление Ю. Жигалова

❀

В книге использованы фотографии
И. Тюфякова и Б. Рябинина

П $\frac{70803-365}{М101(03)78}$ **Без объявл.**



„МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА“

КОМАНДИРОВКА НА УРАЛ

Мой край в эту поездку начался с Камы. После моста. Хотя и до него за окном вагона просматривались в ночи знакомые места. Но это не Урал. Впрочем, никто не знает, где и с чего начинается он. Сколько географов, столько и разночтений его картографических границ. В разные времена они были различными даже в административном отношении. Я нахожу, что Урал начинается с первой закамской горы. А первая закамская гора та, на которой распростерлась Пермь. По эту сторону Камы есть, конечно, тоже горы, но это отроги. Они сказываются далеко на запад. Чуть ли не до Вятки-реки. Настоящие же горы — за нижним течением Чусовой. Чусовая — коренная уральская река, стекающая с его водораздельного хребта. Здесь кончается Европа и начинается Азия.

Словом, я еду в Азию. В город Свердловск. Еду в командировку от правления Союза писателей. Цель поездки — принять участие в перевыборах правления Свердловской писательской организации. В тот, 1940 год на Урале она была, кажется, единственной. Я очень горжусь первым поручением Союза, в ряды которого меня приняли совсем недавно.

Так вот...

Урал начинается за нижним течением реки Чусовой. Он на-

чался, когда я уже засыпал, и продолжился на следующий день ранним, чарующим, волшебным, сказочным и, я бы сказал, малахитовым утром. Иных, впрочем, в начале сентября на Урале и не бывает... если, конечно, солнце просыпается, как и положено ему, под легким нежно-алым покрывалом зари, а не в темно-сером нагромождении рваного тряпья грозовых облаков или того хуже — в молочно-мглистой бледноте придутого из тундр тумана.

На этот раз утро было для меня абсолютно волшебным и абсолютно малахитовым по другой причине. О ней тоже необходимо предварить, потому что именно там кроется нить, которая сошьет воедино все листы и тетради повествования, которое начнется со следующей строки. После трех звездочек.

* * *

В Москве несколько дней тому назад мне дали под честное-расчестное слово и чуть ли не под залог книгу сказов старого Урала. Форматом и толщиной чуть побольше школьной общей тетради. На лицевой крышке переплета — рельефное изображение бородатого, похожего на рождественского волхва, старика на фоне отлогой горы. Его рука вдохновенно поднята. Он, по всей видимости, что-то увлеченно рассказывает сидящим подле него под кружок остриженным мальчикам.

Вверху обложки бронзовое, уже успевшее потемнеть тисненое название книги: «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА». Имени автора нет. Оно на титульном листе: П. Бажов. Там же повторяется изображение старика с поднятой рукой на фоне темной горы и ночного густо-синего неба, крупных звезд, горбушки луны и хвойного леса. В глубине дымящийся костерок. На переднем плане перевернутый закопченный котелок, мальчики из моего детства и... и, кажется (извините), я... Словом, знакомые подробности.

Год издания 1939-й. Свердловское областное издательство.

«Малахитовую шкатулку» я читаю и перечитываю до утра. В ней четырнадцать влюбивших в себя с первой встречи сказов. Из них семь особенно пьяняще чарующи. Они составляют единое повествование о Медной горы Хозяйке, о малахитовой шкатулке, о мастерах и мастерицах, которые были близки, понятны и дороги мне, как и речевая мозаика книги. Это мой кровный, родовой бабушкин язык, со всеми его переливами и затейливой вязью изысканных и отборных словосочетаний. А я-то думал...

А я-то думал, что булатное острословие народных речений, алмазная россыпь сказительских присловий, веселое устное краснобайство канули навсегда в никуда, заменившись новой, деловой печатной речью. А они, оказывается, всего лишь дремали в летаргическом полусне, слегка припорошенные рыхлым слоем общепринятой фразеологии широкого потребления.

Мне казалось, что и сказки, слышанные мною в детстве, тоже погребены без холма и могильного камня, чтобы стать навсегда забытыми и никогда не существовавшими. Положим, оглядываясь в прошлое...

ОГЛЯДЫВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ

Положим, оглядываясь в прошлое, вспомним, что была в те глухие годы глухих окраин кошмарная россказня, которая стоит презренного забвения. И было подобного «эпоса» ужасов и страхов не так мало. И все это жило рядом с прекрасным, светлым устным творчеством, где торжествовали Солнце и Добродетель. Мне довелось слышать невероятное порождение многоцветной живописи языка и безжалостной жестокости. И чем сильнее и красочнее было первое, тем злее — второе. И оно тоже называлось святым именем: сказки.

В них говорилось о всеядных Ягах-ягишнах, об их столиких пособниках — вещерах и вещерицах. О болотных девках красавках-заманках, о ненасытных страхилатах, «обесчувствливающих» встреченного человека одним своим видом.

С очевидческой, свидетельской точностью рисовались дикобордовые от пресыщения упыри-кровососы, с подробным описанием «биомеханического» устройства их языка «на манер пиявки», так что к утру на теле человека оставались только «саднеющие пятна вроде лишаев».

Дичайшая россказня велась сугубо натуралистически «уточнительно». Действовали в ней и мохнатые, жирные гробовые черви; неприкаянные, костлявые, голые, безглазые покойники, одержимые вечной бессонницей и ознобом от зябкой сырости могил. Случались и злодеи-зимогоры, бражничающие и разбойничающие вместе с бесплодными девицами-водяницами, не мерзнущими зимой в темно-зеленых кухлянках из озерной тины. Предусматривалось для убедительности все, вплоть до валенок, свалянных пропойцами-шайтанами из лешачьей шерсти осенней линьки.

Легионом зловещей нечисти густо населялся потусторон-

ний фантастический мир, а попутно и внутренний мир детей. И мой мир.

Были на Урале и в Прикамье словесных дел мастаки, желчно наслаждавшиеся смакованием медленных смертей, долгих мучений, доводящих до обморочных потрясений юных и взрослых слушателей. До таких потрясений, что иного мальца начинало трясти до наступления сумерек. Ему чудились в темнеющем углу или где-то под кухонной лоханью подкарауливающие его тщательно до этого, детально прорисованные чудища. Они доводили до галлюцинаций и крепкие, трезвые, здравые головы, а уж темные-то... Нечего и говорить.

Страшило все. И подпечье, где сидел обязательный для каждого дома «суседко». И пустая корчага, в которой могла оказаться незримая днем и оживающая во плоти ночью несусветная осьмигрудая, шестирукая, семипалая, трехглазая (один глаз на затылке) буйная тешительница по имени Марьяга. Она могла притаиться в корчаге до полуночи, когда дремлет на своем золотом троне и сам господь бог Саваоф, не видя, что делается в ночи на его земле, особливо в ее лесисто-увалистом Урале. А потом...

Потом происходило все то, что взбредало в голову рассказывающему таинственным полушепотом...

Самые отъявленные духи ухитрялись прятаться и на божнице, по ту сторону икон, за спиной святых, поскольку у них нет третьего глаза. И снова страховещателем нагромождалась тысяча и одна вариация злодеяний. Они придумывались столь искусно, что услышанное в яви переходило в нестерпимые сновидения. И от них не только дети, но и взрослые люди просыпались в холодном поту.

Старики и старухи, прожившие каторжный век в чудовищном порабощении беспросветных доменных, рудничных, заводских непосильных тягот, может быть, и не осознавая того, мстили рано оставляемому ими миру, отравляя его сказительским ядом.

Натуралистически подробно их язык создавал «неопровержимо и доказательно» существующих под землей и наземно рыжерудных Злодеянов, алчных золотых Живоглотов, голодных сухопарых Костоглодов, Змеев-прелюбодеев, измазанных сажей, чернобанных Голопузиков, играющих по ночам в карты на людские души... Мало ли было их в мрачном «фольклоре» минувшего.

Возвращаясь из отклонения на магистраль повествования, мне хочется признаться в финале этой главы, что я...

Что я, пожалуй, не виню рано отживших, изработавшихся до поры до времени наших подневольных уральских стариков и старух за эту всеразъедающую желчь. Ее вырабатывало и накопляло в них чудовищное бесправие, которое могло быть только в отрезанных от мира бессудных, колонизируемых уголках медвежьего царства, не случайным гербом которого был медведь, лицемерно несущий на своей спине святое Евангелие и также святой крест.

Но и в давние годы моего детства появлялась благодатная почва для иных сказок — зарождался иной мир.

ИНОЙ МИР

Мне долго, мне очень долго казалось, что существует и может существовать только так называемая «деревенская сказка» или, во всяком случае, та, действие которой происходит в земледельческих «царствах-государствах». Таковы они были все от «Курочки рябы» и «Репки» до «Конька-горбунка» и «Сказки о рыбаке и рыбке».

И коли нет иных, значит, они не могут быть. Но как можно не придумывать сказку, скажем, о заводе, когда он и сказочно чудодеен, чуть ли не во всем. От выплавки чугуна до превращения металла в машину, которая на моих глазах лежала в горе мертвым камнем — рудой. Не лучший ли это вариант сказки на сюжет «Спящей красавицы»? И я сам для себя, десятилетним мальчишкой, придумываю свою «Спящую красавицу». И ее пробуждает никакой не чародей, не фея, а — рудобой и доменщик. Горновой, мастер, которых я знаю в лицо и по имени-отчеству. И так же хорошо знаю тех, кто у меня на глазах превратил спящую руду в живой паровоз. И это мне было страшно приятно. И я всем пылом детской души хотел слышать, пытался придумывать заводскую, близкую мне сказку. Близкую потому, что я был заводским жителем.

Детство мое протекло в краю больших, многоотраслевых заводов. Заводом тогда называли не только самый завод (фабрику), но и населенный пункт. И мне железо, медь, литье, слесарное дело, рождение паровозов, пароходов было ближе, роднее какой-то репки, уродившейся хотя бы с домну величиной, и всяких других гороховых стеблей, выросших до неба. Это была крестьянская мечта. Я любил, конечно, и волнующуюся рожь, и запах гречихи, но для меня это все было «травым-трава», и только. А вот подводная лодка... Это вам не какой-

нибудь кит, который кого-то там проглотил, и этот кто-то в ките плавал под водой, не зная, останется он жив или нет. Не зная, куда занесет его эта шалая рыбина. Подводная же лодка — это настоящий управляемый корабль, родившийся тоже в горе. Рудой. И кати на нем, куда тебе нужно. Хоть под камские льды, а потом под волжские, до самой Астрахани, а потом в Каспийское море. В лодке тепло, светло, и видны рыбы через ее окошки с толстым стеклом. И сомы, и белуги, и осетры. Можно изловчиться и поймать за хвост какую-нибудь севрюгу.

Автомобиль — тоже настоящее волшебство. Не выдуманное, а такое, которое можно потрогать руками. И не только потрогать, но и сделать. Вот бы сказку о нем. И я знаю, как ее сочинить, только не могу. У меня мало слов. Они есть у бабушки. Но бабушка не знает, что такое автомобиль. Поэтому ей не помогут никакие слова. А сочинить сказку про автомобиль, в общем-то, совсем легко...

Ну, скажем... Жил да был на свете Гаврила. Все его считали колдуном. Да и как его не считать колдуном, когда он выколдовал в кузнице самопильную пилу, которая сама собой пилит. Только дрова в котел подкладывай. А однажды Гаврила решил заставить телегу саму по себе, без лошади бегать. И заставил. Все ахают, охают, крестятся, в полицию заявляют, попа призывают, чертознаем Гаврилу называют, говорят, что он с самим чертом снюхался. Набежала полиция, сам архиерей приехал. Судить Гаврилу начали. Хотели от церкви отлучить как колдуна и в тюрьму посадить. Судили они, судили, выискивали в нем нечистую силу, а она не выискалась. Гаврила слесарем оказался и показал, как простую телегу можно самоходной телегой сделать, да еще пристава на ней покатал и архиерея в собор свез.

И что тут было потом, что было!.. Сказка эта, конечно, не появилась...

А я хотел, чтобы она была. И не один я хотел, а все заводские ребята-мечтатели, жившие в ином, сказочном мире, принципиально ином, где волшебником был рабочий человек. А самым главным волшебником всех волшебников был инженер. Он знал и мог сделать все. Для него не было тайн. А для меня были тайны.

Тайной была для меня звучащая черная круглая пластинка граммофона. Я знал, что ее тоже сделали на заводе, и не на каком-то простом, каким был кирпичный завод или маслобойный, а на волшебном заводе. Иначе я и не хотел называть. Но

вот как она звучит... или почему движутся на экране люди... Как по телефонным проводам передается голос... Как получается на бумаге фотографический снимок... Этого я не знал, хотя и очень хотел. Поэтому мне были невероятно нужны объясняющие сказки, которые я уже озаглавливал про себя: «Говорильные блины». О том, как тот же Гаврила пек на сковородке говорящие граммофонные пластинки. «Скворец в ящичке» — сказка о фотографическом аппарате, в котором предполагался скворец, умеющий моментально рисовать. «Заморская проволока» — о телефонных проводах и так далее.

У меня были десятки сказок, рассказываемых мною самому себе, а мне хотелось, чтобы они рассказывались для всех. Но у меня не было, повторяю, самого главного сказочного материала — слов, а задумок — хоть отбавляй. Во всяком случае, больше, чем двоек в школьных тетрадях.

Начало двадцатого века было населено сказками, «рассказываемыми» заводами, инженерами, рабочими о производимом ими. Я и в цементе видел сказку — «Окаменевший кисель» или «Камень из волшебного киселя». Я не знал, как лучше назвать изумительное превращение цементного раствора в отвердевший «каменнее каменного» бетон. Это было чудо, которое я свершал сам, разводя цемент в форме для желе, а потом, дав ему затвердеть, получал красивую, блестящую каменную отливку. Цветы. Листья. Ягоды... И рубчики по краям.

Я твердо верил, что через несколько лет выросту волшебником. Каким именно, мною пока не было решено. Может быть, граммофонным... Может быть, электрическим... Скорее всего, им. Потому что электричество — это чудо из всех чудес и сила из всех сил. Что же это, как не волшебство, когда угольная нить, заключенная в стеклянный ламповый пузырь, освещает ярко-преярко большую комнату.

Волшебство!

Но оно не выдуманное, потому что можно проскользнуть через проходную завода и побывать в электрическом цехе и увидеть машину, которая вырабатывает электричество, и оно, как голос по телефонным проводам, идет, куда тебе надо.

А если тебе надо, выпроси у тетки пятнадцать копеек и купи «карманное электричество». Электрические батарейки к карманным фонарикам тогда уже продавались в галантерейных лавках. А сказок о них не было... Катастрофически не было и не предполагалось.

Эта тоска по неродившимся заводским сказкам — сказкам о таинственном, но не тайном, о волшебном, но рукотворном

долго терзала меня. А потом я подрос и даже вырос. Сказки ушли из меня. Они, как я уже говорил, мне казалось, ушли и из жизни. Я и не вспоминал о них. Даже казалось, что им нет места в нашей жизни, где одно чудо рождает другое. И вдруг!..

Как взрыв! Как канонаду взрывов производит во мне П. Бажов своей «Малахитовой шкатулкой».

Прорывается брешь... Не брешь, а широченный прогал в новые, принципиально новые сказочные просторы. В просторы заводов, фабрик, рудников, приисков...

Кто же вы, написавший эту книгу?

Кто вы, П. Бажов?

КТО ВЫ, П. БАЖОВ?

Мне совершенно необходимо знать, что это за человек, который прорубил для меня широченный прогал в новые, принципиально новые сказочные просторы. В просторы заводов, фабрик, рудников, приисков. Передо мной новые, принципиально новые действующие лица. Рабочие. Пусть это пока еще не те индустриальные рабочие, которых я хотел видеть в сказках еще мальчиком, а всего лишь их предтечи, их отцы, деды, иногда прадеды. Но все равно это рабочий люд. Заводской, а не крестьянский быт и уклад. В сказках не только призрак грядущего рабочего класса, но и его зарождение. Зарождение, типичное для моего родного края. И где-то, в каких-то абзацах сказов, проступает протестующий, подымающий голову и руки на своих угнетателей, осознающий себя главной силой родоначальный герой, творец, мастер, труженик — рабочий. Соль земли. Рушащая, карающая и созидающая сила.

Пусть в сказах П. Бажова как бы преемственно сохраняется тайная сила, некоторая как бы наследственность потусторонних персонажей, но это уже не то. Совершенно не то. Во-первых, они скорее условно аллегоричны, нежели потусторонни, во-вторых, их, так сказать, идеологическая физиономия приятна и тоже, так сказать, очевидна их классовая сущность. Все они от Змея-полоза до Медной горы Хозяйки находятся по нашу сторону баррикад в борьбе с поработителями... На них, что называется, можно положиться.

В иных же сказах («Дорогое имячко», «Марков камень», «Тяжелая витушка») он предстает совершенно реалистическим произведением (рассказом, повестью) с некоторой акварельно-фантастической окраской. И во всех сказах точнейшие

приметы времени, места действия, атмосферы края и всего, что присуще Уралу.

Вам не трудно представить мою взволнованность после прочтения «Малахитовой шкатулки». Кто-то прочел в ней только то, что было, а кто-то и доразвил ее в своем воображении. К таким людям, знающим свой край, жившим в рабочей среде, естественно, относился и я.

Кто же вы, товарищ П. Бажов, вернувший мне чуть ли не меня самого? Того «меня», который отжил «тем мной» и теперь стоит у окна опустевшего купе и смотрит другими глазами на свой, кровно родной лес, очищенный от лешачиной нечисти. Но...

Но бог с ней, с нечистью! Кто же вы, Бажов? Кто? Неужели... Нет-нет! Память, не шепчи мне невероятное. Этого не может быть! Не может!!!

А в памяти между тем, как в иссохшей ложбинке, крохотулечным ключиком пробивается настойчивое и очень приятное воспоминание. Его настойчивость тем неодолимее, чем я больше противостою ему.

У придорожной кромки леса мельтешат зеленые ящерицы. Они бегают так отчетливо, что и не хочется верить, что это продолговатые, напоминающие ландышевые, листья, шевелимые ветром от скорого бега поезда. Как-то назойливо и довольно часто за окном мелькают женщины, похожие то на Хозяйку Медной горы, то на ее любимицу Танюшу. Да и Данила-мастер вдруг представал в неподходящем для него виде — с желтым железнодорожным флагом в руке. Да и горы выглядели только Думными, хотя я тогда и не знал, как выглядит Думная гора, где «волхв с посохом» — дедушка Слышко заводил сказы-пересказы у мерцающего костерка.

Наверно, я еще не окончательно проснулся. А может быть, сказалось закрытое на ночь окно. Нужно допить из маленького дорожного термоса еще, наверно, не остывший крепкий кофе.

Я так и делаю. Но этим только возбуждаю себя. И сам себе придумываю видения. А ключик, помимо моего желания, в глубинах памяти превратился уже в ручеек, и он журчит мне, что я знал Бажова и встречался с ним. Я боюсь и хочу поверить этому и спорю со своей собственной памятью. И даже сомневаюсь, хотя уже и не очень. Кажется, тот, кого знал десять лет тому назад, был Бажовым?

Вообще-то фамилий с корнем от слова «БАЖить» на Урале и в Прикамье множество: Баженовы, Бажановы, Бажковы,

Бажаковы, Бажутины, Бажевитины, Бажнины и даже есть БажЕвы, но не БажОвы.

Однако довольно! Многовагонный змей-полоз, изгибаясь, одолевает последний подъем. Скоро Свердловск. И я узнаю, кто это, и какой Бажов, и что за имя стоит за буквой «П». Имени того Бажова я не помнил да, кажется, и не знал.

А память каким-то подспудным способом не желает ждать приезда в Свердловск и заставляет меня думать о том Бажове, которого я знал.

О ТОМ БАЖОВЕ

Наша полусамодеятельная редакция ежедекадного сборника-пособия для коллективов живых газет «ЖТГ», или «Живая Театрализованная Газета», перебиралась из Перми в новую столицу Уральской области, в город Свердловск. Это было в 1929 году. Я еще не износил студенческих башмаков и очень гордился занимаемым постом редактора ЖТГ.

В Свердловск мы переезжали не потому, что разлюбили выучившую нас и поставившую на ноги Пермь. Как ее можно разлюбить, когда она в крови, в юности, в первых публикациях, но Пермь в те не очень блистательные для нее годы перешла сначала на положение окружного города, а затем и... районного. Любили мы или нет бывший уездный город Пермской губернии Екатеринбург, оставим за полями этой страницы. Екатеринбург был назван Свердловском и провозглашен «столицей» Урала, стремительно меняющей свой облик.

Пермской ЖТГ, ставшей уже всеуральским «центром» так называемого в те годы «живгазетного движения», необходимо было и территориально находиться в центральном городе Уральской области. В Свердловске.

Здесь издавалось много газет: «Уральский рабочий», «Крестьянская газета», «На смену», «Сабан эм Чукеч», «Всходы коммуны»... Здесь были литературные журналы, было книжное издательство, была, по тем временам, и значительная полиграфическая база.

Это был стремительно растущий, большой город.

Номера сборников ЖТГ выходили в красочных привлекательных обложках. Однако же под многообещающими обложками скрывались произведения весьма и весьма различного литературного достоинства.

Три номера журнала в месяц, авторов же меньше, чем пальцев на руках. Мы не успевали писать театрализованные передовицы, фельетоны, инсценированные статьи на темы текущей жизни и сенсаций дня, разыгрываемые в лицах.

ЖТГ нуждалась в творческой помощи и заботливом шефстве. И мы все это неожиданно нашли в организации, имевшей к нам косвенное отношение. Там несколько раз отмечались наши тематические успехи, четкая и чуткая политическая направленность ЖТГ и...

И литературная посредственность.

Словом, не было в ЖТГ литературных перлов, а литературных небрежностей было более чем достаточно. Поэтому сочувственный редактор пионерской газеты «Всходы коммуны» Саша Козлов посоветовал мне познакомиться с Бажовым.

— Бородатый такой,— сказал он мне,— как войдешь, не спутаешь. Один с бородой.

Бородатых тогда было очень мало, а в советских учреждениях почти не было их. И я сразу увидел нужную мне «бороду».

Я назвался и услышал в ответ:

— Очень приятно... Бажов!

Я познакомился с любезным, мягким, располагающим к себе человеком лет пятидесяти. Я встретил не просто «указчика» на наши недостатки, каких было больше, чем недостатков, а доброго советчика. Я нашел больше, чем хотел. Чем мог ожидать.

Товарищ Бажов (так и только так я тогда называл его) терпеливо и деликатно раскрывал изъяны тех строк, в том числе стихотворных, которые нуждались в ласковой руке учителя, а не в надменном перечеркивании хорошо начатого, но плохо выношенного. Темпы же! Сегодня случилось, а завтра заверстывай в номер!

Мой новый знакомый не просто разбирался в стихотворных строках, но и умел выправить их. Тут же, за столом, не давая высохнуть своему перу.

Это был уже клад! Самородная россыпь недостающих слов, нужных синонимов, выразительных эпитетов. И когда подписанное мною в набор товарищем Бажовым в значительной части переписывалось... Притом в нескольких вариантах... Это уже был не только клад, но и чудо!

Не принадлежа к людям, умеющим рассыпаться в благодарностях, за что я всегда страдал и страдаю, я и на этот раз не сумел выразить товарищу Бажову глубочайшую при-

знательность, переполнявшую меня. Но мне кажется, что чуткий Бажов, читая не только написанное мною, но и меня, не нуждался в словесном переводе моих чувств к нему. Он знал о них.

Я думаю, он также понял тогда, как много мне недодал Пермский университет, а может быть, я по своей вине это «многое» не добрал сам. Пожалуй, это вернее.

Бажов тогда учил меня стилистике, неизвестной мне риторике, искусству отбора слов, отличия слова «звучащего» от слова «начертательного». Что было особенно важно в живой, слушаемой со сцены, а не читаемой газете.

Временами он казался мне педагогом, и я думал: «Вот такого бы в университет, уж он бы выучил». И вообще Бажов, его знания, его интеллигентность, культура речи изобличали в нем преподавателя высшей школы, профессора, магистра, а внешность?.. По внешности его можно было принять за земского деятеля, землемера, ветеринарного фельдшера прошлых лет, за учителя рисования заштатного училища, только не за того, кем он был. А был он тогда журналистом, литературным работником, редактором.

Ну, посудите сами... Во-первых, борода. Пусть каштановая, шелковистая, хорошая борода... Но тогда в советском учреждении бородатого, как я уже сказал, было встретить так же трудно, как девушку с косами. И сама по себе борода была если не признаком старого режима, то его пережитком. Да и усы тогда были редкостью.

А одежда Бажова? Блуза, подпоясанная широким ремнем. Рабочая кепка. Брюки, заправленные в сапоги. К этому же невысокий рост, маленькие ручки, маленькие ножки и большая, красивая голова с высоким лбом. Его широко разрезанные глаза заставляли вспоминать известный портрет композитора Мусоргского. Глаза светились бирюзой. Они излучали доброжелательность. Они были отечески, покровительственно насмешливы. Смеяться им, читающим наши материалы ЖТГ перед сдачей в набор, было над чем.

Товарищ Бажов, ко всем прочим его достоинствам, оказался еще и музыкальным человеком. Дело в том, что театрализованный материал, предназначаемый для исполнения коллективами живых газет, не только читался, но и пелся. Пелся на широкоизвестные мелодии: мелодии русских песен, арий, опереточных куплетов, романсов и т. д. В тексте мы указывали в скобках: на мотив такой-то. И не всегда этот мотив соответствовал тому, какое действующее лицо и что исполняет. Бажов не упускал и этой подробности:

— Зачем петь такие серьезные слова на пошлый мотив «Пупсика», разве мало мелодий на этот размер... Вот послушайте...— И он принимался напевать написанное на иную, более или вполне соответствующую мелодию.

Знакомство было недолгим, но запомнившимся. Я тогда не удосужился узнать его имя и отчество, да тогда и не было принято называть полным именем официальных лиц. Я не знал, где товарищ Бажов живет, какое у него образование... Я понял только, что это безусловно хороший человек. Таким он и запомнился.

Вспомнив о том Бажове, я вскоре узнал кое-что об этом Бажове.

ОБ ЭТОМ БАЖОВЕ

Вспоминая о встрече десятилетней давности, я, может быть, продолжил бы эти воспоминания, если б зашипевшие тормоза вагона не вернули меня в текущий тысяча девятьсот сороковой год, на перрон станции Свердловск, где меня встречали товарищи из областного отделения Союза писателей. Ведь я же был не просто приехавшим в творческую командировку, а, можно сказать, «представителем из центра», с «мандатом», подписанным самим Александром Александровичем Фадеевым. Он, командируя тогда меня, поручал:

— Познакомьтесь, как живут ваши земляки, что мешает им в работе и что, на ваш взгляд, необходимо сделать и чем помочь организации.

Облеченный столь высоким доверием, выполняя первое значительное поручение, я чувствовал себя на высоте положения и думал, как и с чего начать выполнение своей миссии.

Поздоровавшись на станции с встречавшими меня, я спросил, чтобы с чего-то начать разговор:

— Ну, как живется-можется, как растет организация?..

— Да ничего себе... Вроде бы как расширяемся,— ответил незнакомый мне пожилой литератор.— Не так давно приняли одного из немолодых. Шестьдесят уж ему... Не в авангардном жанре пишет, а, можно сказать, в древнем...

— В каком же? — спросил я.

— Сказки сочиняет... Ничего как будто получаются... Другие даже хвалят...

Я догадался, о ком идет речь, и перевел разговор на другое. Мне как-то не очень понравилась тональность разговора и бес-

фамильное упоминание писателя, уже известного литературной Москве, набросок статьи о котором лежал у меня в дорожном портфеле вместе с моими тощими книжечками, которые я готовился преподнести с дарственной надписью П. Бажову.

На пути в огромную, новую гостиницу «Большой Урал» я узнал то, что мне могло быть известно и в Москве. Мне назвали Бажова Павлом Петровичем, сообщили его адрес:

— Чапаева, дом одиннадцать. Угловой дом. Такой, знаете,— поясняли мне,— бревенчатый. Из невзрачных. Одноэтажный. С крылечком. Вход с улицы. Во дворе собака. Из дворняг. Глохнет уж... И слепнет... А в чести. В холе. Сливой звать ее.

— Сливой?

— Сливой! Не собачье имя, но ничего. Прижилось. Вообще-то говоря, Павел Петрович Бажов тонкий старик. Он с виду только «так себе» и «ничего особенного», а если взять его вглубь...

Я не стал слушать моего нового многословного знакомого, каков Бажов, «если взять его вглубь». Мне показалось... Мне как-то очень хотелось, чтобы «этот Бажов» оказался «тем Бажовым». Но... мало ли что может показаться и что может хотеть человек... Вы все-таки ни на минуту не должны забывать, что имеете дело с человеком, одержимым драматургией, а следовательно, допускать, что он и в мемуарной прозе может не пренебречь ложной сценической развязкой, чтобы усилить эффект доподлинной. Доподлинная развязка произошла в первый визит.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

Выполняя московское поручение, я должен был побывать у Бажова и познакомиться с ним. Для прогляда на будущее. Мне хотя и не сообщали о сути этого прогляда, но я догадывался о ней.

Павел Петрович пригласил меня по телефону к завтраку. Мне хотелось, чтобы его голос оказался знакомым. Но голос ничего не сказал. Десять лет — это десять лет.

От центра до улицы Чапаева довольно далеко. Трамвай тогда в Свердловске был самым распространенным городским транспортом. Не скорым, зато приятным.

Трамвай шел довольно долго. В эти часы, когда схлынула волна едущих на работу, вагоны безлюдны.

От остановки трамвая до дома Павла Петровича длинный квартал. У меня было время еще раз перепроверить те добрые и, может быть, несколько «фанфарные» слова, которые я вез из Москвы, чтобы сказать при встрече с Бажовым. Но все они тотчас проглотились, как только на пороге бажовского дома я увидел отворившего мне входную дверь своего старого знакомого. У него было все тем же и все то же. И голубая тишина глаз. И большой высокий лоб... И все еще пышная, хотя и побелевшая борода.

— Это вы, товарищ Бажов?

— Это я, товарищ Же-Тэ-Ге...

И мы обнялись...

Десять лет — небольшой срок, но когда человеку нет сорока, это четверть его жизни, а если принять во внимание, что до десяти лет он еще только становился человеком, то это треть прожитого.

Так много нужно было сказать и не с чего было начать. Не с погоды же... Начали с дома Павла Петровича.

ДОМ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

Дома всегда выражают внутренний мир тех, кто их строил, вычерчивал, планировал.

Дом Павла Петровича был его детищем учительской поры. В доме нет рамы, двери, не говоря уже об остальном, что можно было бы назвать пришлым, случайным, а не рожденным воображением, вкусом, потребностями, наконец, молодого Бажова.

Дом строился (об этом я узнал позднее) на учительские деньги и кредиты, предоставленные частными лицами. Дом прост. Бревенчатые неоштукатуренные стены. Сравнительно высокие потолки. Высокий фундамент, так как строение возведено на сырой, бывшей Болотной улице, не случайно получившей это название. Его планировка разумна. Все четыре комнаты имеют самостоятельные двери, и только одна из комнат, позднейшего происхождения, не изолирована от других. Здесь все целесообразно и продуманно.

Пройдя в комнаты, я как будто вошел в дом моей тетушки, где прошла часть моего детства. Все то же. Все то же, и даже запах. Те же фасоны и цвет стульев, рамы, зеркало, комод и накомодное убранство, дощатый пол, «покрой» дверей, кухонная печь, только нет керосиновых ламп, замененных

электрическими, да стоит необычная для глаза конторка, за которой в молодые годы Павел Петрович писал стоя.

С этого все и началось... Перекинулись какие-то незримые мостики, «сработало какое-то словесное реле», и я заговорил в той же особой уральской манере, в какой говорил до переезда в Москву, где старательно терял то, что в моем языке и «наречии» выдавало мою «географическую принадлежность».

В «Малахитовой шкатулке» я, как уже говорил, нашел слова, которые казались умершими навсегда, и даже казалось, что их не было, а теперь они не только читались, но и слышались в разговорной речи.

Павел Петрович становился мне ближе, дороже, понятнее через подробности уклада жизни, через вещи и убранство комнат, через все, что, казалось бы, жило порознь, но продолжало и выражало живущих в этом доме.

Как-то не принято говорить о любви одного мужчины к другому, хотя этим так часто злоупотребляют в поздравительных письмах и особенно безответственных дарственных надписях на книгах: «Бесконечно любимому...» или «С нежной любовью и преданностью...» и так далее... Такая выспренность принята и на юбилейных вечерах... К этому многие так привыкли, что слово «люблю» произносится у иных, как «давай покурим».

Павла Петровича я безудержно полюбил с этой встречи. И он... Он тоже, как мне показалось, проявил ответные симпатии. Об этом говорили его кроткие глаза, его мягкий голос и его второе «я» — его жена Валентина Александровна. Но, может быть, мне так показалось. Может быть, я этого хотел и поверил в желаемое. И если это так, то все равно я был счастлив в это утро. Иногда и стены отражают твои же чувства, а ты думаешь, что они излучают свои, и от этого становится теплее.

А стены бажовского дома излучали тепло. В этом меня никто и никогда не разубедит. И если их тоже нагрело мое воображение, то я благодарен ему.

Но воображение воображением, а действительность действительностью.

Павел Петрович выглядел человеком простым, общительным, откровенным, уступчивым, мягким, охотно рассказывающим о себе.

Таким он не только выглядел, а и был. Но все эти его отличные черты знали свою меру, свой предел.

Его простота никогда не переходила в простоватость и тем более в упрощенность. Уступчивость — в угодливость, мягкость — в бесхарактерность. Вежливость —в услужливость, как и любовь к рассказыванию не превращалась в многословие.

Прирожденный, внутряной настрой характера, поведения и поступков Павла Петровича сочетались в гармоническую цельность его внешнего облика и внутреннего мира. Мира богатого по его многообразию и сложного по духовному его устройству. Хочется сказать: сложного и трудного по его духовной композиции.

Такой была и его жизнь. Сложная и трудная, не баловавшая Бажова своими щедротами, не мостившая ему гладких дорог.

Павел Петрович и в эту солнечную для него осень 1940 года жил трудновато. Это было видно по всему и хотя бы по той же его «парадной» темно-синей блузе, которая была перешита его женой из ее зимнего суконного платья.

Материальная стесненность чувствовалась и в том, что было подано на стол. И не только это подтверждало древнейшее изречение о пророках, переделанное нашими бабками на новый лад: «В своей деревне красавиц не бывает, а в чужой — и конопатая девка царевной цветет».

Бажов не в этот день, а спустя годы заметил мне: «Репины всегда приходят из Чугуева».

Что верно, то верно. Однако в Чугуеве Репин не мог стать тем Репиным, которого узнал мир, а затем узнал и Чугуев.

Голос Бажова в Свердловске зазвучал сильнее и шире, как эхо из других малых и больших городов и, конечно, из Москвы. Когда я приехал в Свердловск, «Малахитовая шкатулка» еще кое-где встречалась на книжных прилавках. В Москве же ее дарили как редкий отечественный сувенир именитым зарубежным гостям и дипломатам.

В Свердловске, распродав «Шкатулку», и не помышляли о переиздании, тогда как в Лондоне предприимчивый книгоиздатель Хетчинсон готовил перевод «The Malachite Casket» на английском языке.

Об этом я не знал тогда, но и в тот день, 10 сентября 1940 года, было ясно, что, пригласив меня к завтраку, мне оказывает честь большой писатель, который и в десятую долю не осознавал своей величины. Высоко и по-настоящему изнутри одаренные люди об этом всегда узнают позднее других. Только

прошу вас, не подумайте, пожалуйста, что я приписываю себе приоритет открытия Бажова на небосводе литературы, как новой значительной звезды, хотя я думал именно так. Наверно, я так думал потому, что верил другим, кому нельзя было не верить, кто в один голос называли «Малахитовую шкатулку» большим событием в литературе.

Убеждать Павла Петровича в этом значило бы обидеть его и при этом выглядеть неумеренным льстецом, развязавшим язык после второй рюмки водки. Иных вин, к слову говоря, Павел Петрович не пил, памятуя шутливый отцовский наказ: «Павел, если будешь выпивать, то пей только водку, потому что все другое — подкрашенная, изгаженная и удороженная она сама...»

Мы были верны процитированному и не оскверняли памяти предков иными напитками. Разговор зашел — кажется, завел его я — об инсценировании какого-то из сказов. «Малахитовая шкатулка» была уже инсценирована, поставлена и не стяжала на сцене, по сравнению с первозданным, больших лавров. Мне хотелось взять что-то другое и, если не изменяет память, сказ «Ермаковы лебеди», что и было сделано впоследствии.

А потом мы обменялись подарочными книгами.

Павел Петрович вручил мне уже знакомую по Москве книгу «Малахитовая шкатулка» из тех первых «штучных» экземпляров, которые были переплетены особо и представляют теперь библиографическую «антикварность». Он сделал лестную для меня и обнадеживающую надпись:

Евгению Андреевичу уповательно, что дальше установится связь не такая мимолетная, а плотная, по совместной работе. Да?

10.IX-40 г.

П. Бажов.

В тот же день я был интервьюирован редактором газеты «Уральский рабочий» Иваном Степановичем Пустоваловым. Предполагалось дать беседу о встрече с Павлом Петровичем. Я предложил начатую статью, которую дописал, скажем точнее,— написал заново, там же, в редакции.

В те годы областные газеты не считали возможным материалы о литературе держать неделями в столе, а брали написанное «прямо с колес». На другой день — 11 сентября 1940 года — моя статья появилась в номере.

Спустя тридцать два года я перечитал ее и убедился, что эту книгу я начал писать еще в 1940 году, разумеется и не предполагая, что одной из ее глав станет моя газетная статья. В ней я кое-что преувеличил для тех дней, свято веря, что еще не происшедшее обязательно и всенепременно произойдет. И оно произошло.

Мне так приятно сейчас блеснуть перед вами своим предвидением, однако сожалею, что в редакции мое название статьи — «Встреча с волшебником» нашли излишне восторженным и заменили достаточно ординарным — «Встреча с писателем», повторявшимся в том же «Уральском рабочем» до десяти раз, а в печати вообще — неисчислимо. Но было уже поздно спорить. Когда номер в стереотипе, то только стереотипные простаки могут надеяться на смягчающую переотливку редакционного «правежа». Сотрудник газеты еще до сдачи статьи в набор соглашался со мной.

— Бажов, бесспорно, наш уральский «женьшень», и надо об этом так и сказать, именно так,— говорил он, вычеркивая из рукописи статьи именно эти слова,— но сказать, понимаешь, в другой газете, а не в нашей, уральской, чтобы не дать повод для всякого рода кривотолков, ненужных противопоставлений и прочего... Ну, да ты знаешь сам и правильно пишешь о нехватке дерзаний и свежести, — сказал он, вычеркивая и эту фразу.— Она, понимаешь, прозвучит очень свежо, но не в нашей газете...

Приводя на этих страницах статью более чем тридцатилетней давности, я почти ничего не изменяю в ней в угоду времени и в ущерб доподлинности атмосферы тех лет, исправляя в ней только явные опечатки и сокращая то мимоходное, о чем будет рассказано в следующей тетради подробнее. А сейчас перепечатаю из газеты «Уральский рабочий» от 11 сентября 1940 года — «Встреча с писателем».

Вот эта статья.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Есть встречи, о которых хочется рассказывать.

На углу улиц Чапаева и Большакова стоит старый, кряжистый дом, срубленный из сосновых бревен лет сорок тому назад. Дом старится, но он еще крепок. Правда, трехскатная лестница входной двери, видевшая много дождей и ног, просела. Время иссушило и выветрило конопатку. Короче говоря, дом этот крайне нуждается в руке ремонтных рабочих.

Распорядок домика напоминает обзаведение, типичное для жилья уральского рабочего справного достатка. И сам его хозяин напоминает многие портреты почтенных уральских мастеров-старожилов. Глядя на него, невольно думаешь: «Где я его видел?» И вспоминаются старые заводские знакомцы по сю и по ту сторону Уральского хребта.

С Павлом Петровичем Бажовым мы встретились добрыми знакомыми. Меня провели в рабочий кабинет. Книги, рукописи и наброски, снова книги и рукописи. Павел Петрович трудится каждодневно. Это прекрасное качество писателя-профессионала.

Пришедший впервые в дом невольно оглядывает обстановку, вещи и все, что доступно глазу. И глаз видит, что все окружающее писателя является как бы продолжением или составной частью его личности. Возьмете ли вы оконные некрашеные рамы — они не покрыты краской потому, что Павел Петрович не считает нужным прятать затейливое древесное естество, уже получившее необходимую для него олифу. Возьмете ли вы мичуринскую яблоньку, гнущуюся за окном под плодами, она посажена для того, чтобы молча говорить: «Сажайте яблони на Урале, они приносят плоды». Возьмете ли вы каслинскую чугунную табакерку 1903 года, в ней целый рассказ и жалоба на то, что изумительное и единственное в мире по тонкости литье, которое можно сравнить разве только со смежным искусством палехского письма, утрачивается, так как скульптурное литье уступило на заводе первое место мясорубкам.

Разумно и литературно живут в этом доме вещи. Тысячи невидимых нитей связывают этого человека со всем, чем жил, живет и будет жить наш Урал.

Эти нити тянутся на заводы, к старателям, к гранильщикам, камню-змеевику, к старым заброшенным и вновь возрожденным шахтам лиственничного крепления. Нет, кажется, ни вопроса, ни темы, ни отрасли, которые бы кровно и живо не интересовали этого писателя.

Надо родиться на Урале и прожить столько лет, чтобы так его знать и так его любить. В самом деле, разве не любя можно создать такую волшебную «Малахитовую шкатулку»?

Большую, тугую котомку революционного опыта, доверху наполненную знаниями, бесценными изумрудами и золотым песком сверкающих слов, старательски намытых из народного языка Урала, несет писатель Бажов через жизнь.

Хорошая, благородная зависть загорается в человеке, слушающем рассказы и планы Павла Петровича.

Сейчас писатель закончил книгу «Горные сказы». Это продолжение «Малахитовой шкатулки». В этом же сказовом плане мы скоро будем читать книгу «Мастера». В книге говорится о людях, умеющих оживлять и заставлять смеяться камни. В этой книге пройдут перед нами уральские мастера, чьи произведения странствуют и живут во всем мире. Показательно, что сказы, будучи еще в рукописи, ходят изустными маршрутами по городу и увозятся за его пределы.

Писательское ремесло, как известно, своеобразно. Литераторы часто одновременно работают над несколькими произведениями. Павел Петрович давно трудится над материалами и романом предпугачевского периода. Писатель берет годы, предшествовавшие историческому пугачевскому движению. Крепостные крестьяне, вольные, беглые, крепостные рабочие, «инородцы», казаки — десятки струй и притоков сливаются к концу романа в одно большое движение, возглавляемое Пугачевым. Географически район разворота действия романа очерчивается Камой, Лысьвой, Кунгуром, Васильево-Шайтанским заводом (ныне Первоуральском). Будет показан непокорный заводской Средний Урал, полученный от Строгановых в качестве приданого князем Шаховским и позднее Шуваловым.

Надо полагать, этот материал, яркий и обильный, потянет писателя и на вторую часть, рисующую само движение пугачевцев и трагедию вождя.

Талант Павла Петровича цветет буйно, решительно и молодо. Его произведения за короткий промежуток времени стали достоянием широкого читателя. Павел Петрович — сверкающий самоцвет литературного Урала. И едва ли не через него одного из ныне живущих в Свердловске писателей уральская тема доносится до широкой читательской публики СССР. Та же «Малахитовая шкатулка», живя книгой, изданной в Свердловске, переиздается в Москве. Перевоплотившись в пьесу, она рассказывает зрителям о сказочно богатом Урале. «Малахитовая шкатулка» будет жить и цветным фильмом. Всесоюзный комитет по делам кинематографии обратился к Павлу Петровичу за разрешением на экранизацию этого замечательного уральского произведения. Киноискусство понесет сказы об Урале средствами, доступными для людей, не знающих русского языка, далеко за рубежи нашей Родины.

Большие писатели нередко создают большую славу своим краям. Павел Петрович много сделал и еще сделает для области. Кедр, как говорится, с осиной не спутаешь и с липой тоже. Это ясно. Но мало не путать. Хорошее дерево требует

соответствующего его качествам отношения. Мы живем в эпоху, когда люди вознаграждаются по заслугам, по их труду. И так хочется для своего старшего собрата как можно больше удобств и возможностей для дальнейшего творчества...

...Нельзя не кивнуть и в сторону Свердловского отделения Союза советских писателей. Там возникла версийка о том, что, мол, Павлу Петровичу надо писать и нельзя, мол, этого ценного человека загружать работой по руководству писательской организацией.

Побудьте день в квартире этого человека, и вы увидите, кто душа уральской литературы. Кому несет первые робкие пробы пера литературная поросль? К кому приходят художники с эскизами своих будущих полотен? Кто ведет огромную переписку? Павел Петрович и сейчас общепризнанный руководитель литературной организации свердловских писателей.

Руководить писательской организацией — не значит просиживать обивку кресел на заседаниях отделения Союза писателей. Час, проведенный полезно, часто дает литературе больше, чем месяцы бесплодных заседаний. Этот вопрос тоже не требует доказательств и дискуссий. Мы его коснулись только потому, что он невольно приходит в голову, когда сидишь в кабинете Павла Петровича, слушаешь его и учишься у него. А учиться есть чему.

Приятно быть лично знакомым с этим человеком и, более того, жить с ним в одном городе.

* * *

Далее, как полагается, под статьей подпись автора. Прочитавший такую публикацию скажет: как хорошо и счастливо идут дела у этого писателя, опекаемого счастливой фортуной. Я этого не скажу. У неопровержимо талантливейшего писателя была осторожная фортуна.

ОСТОРОЖНАЯ ФОРТУНА

Это была моя первая, крупная для меня, по крайней мере по количеству знаков, статья о Павле Петровиче. Мне она была нужна не только потому, что в ней состояла моя внутренняя потребность, но и организационно.

Теперь эту статью едва ли кто поставит мне в вину, а тогда она кому-то (не важно кому) показалась неумеренным пере-

хвалом. Даже в одной из центральных газет меня упрекали в этом.

Наверно, что-то было сказано мною опережающе преждевременно, но не ошибочно. Утверждаемое мною не просто подтвердилось, а произошло в значительно большем масштабе. Но это потом, а тогда...

Тогда, опять же скажем, кому-то выход «Малахитовой шкатулки» хотя и казался выстрелом большого звучания, но не все считали его дальнобойным. Находились люди, не захотевшие эту первую книгу, впервые заявившую в большой литературе о рабочем сказе, выдвинуть на Государственную премию.

Один довольно известный писатель внушал мне о «Малахитовой шкатулке»:

— Да что же это вы, сударь мой, непомерно увлекаясь, возводите в ранг высокой литературы фольклорную обработку местного, областнического (обратите внимание — «областнического», а даже не областного) значения.

Спорить с ним было бесполезно и поздно.

Премия была присуждена после вторичного массового выдвижения. Влиятельные поклонники сказов Бажова — Мариэтта Сергеевна Шагинян, Ольга Дмитриевна Форш, Лев Степанович Шаумян и другие — аргументированно настаивали на присуждении премии первой степени. Павел Петрович получил вторую. Степень премии не всегда безупречно определяет уровень литературных заслуг, что было и будет трудным хотя бы потому, что они проверяются не годом или двумя, а большей продолжительностью жизни произведения.

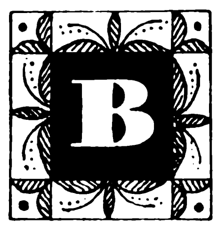
Так что фортуна к Бажову в тот год была не столь улыбчата, как пишут о ней восторженные почитатели, замалчивая некоторые предосторожности в ее щедротах. Слава к Бажову пришла позднее. Она пришла после многих переизданий «Шкатулки» и десятков переводов сказов, становящихся классическими в этом жанре эпоса рабочего класса, о чем будут даны веселые и счастливые свидетельские показания. Уж рассказывать так рассказывать, помня о лицевой стороне, однако не забывая и о памятной, в данном случае необыкновенно радостной и нарядной изнанке.

А теперь — в следующую тетрадь, о том, что было, как жил Бажов до «Малахитовой шкатулки».



ДО „МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ“

КАК ЭТО БЫЛО



1939 году Бажов был принят в Союз писателей шестидесятилетним, подтверждая этим, что цветение литературного таланта не всегда совпадает с возрастным цветением. Что, заметим вскользь, должно обнадеживать тех прозаиков, которые, не выйдя на большую литературную арену, рано отчаялись и, разуверившись в себе, дали высохнуть своей чернильнице, а вместе с нею и тому главному, что часто бывает глубоко на ее дне.

Выразившись многословно и фигурально, заметим, что позднее и активное творческое кипение не исключительно, а типично для жанра прозы, что подтверждается многими биографиями писателей как в прошлом, так и в настоящем, как в нашей стране, так и в других. В этом, видимо, есть какая-то закономерность.

В том же 1939 году, в апреле, «Малахитовая шкатулка» отправляется на международную Нью-Йоркскую выставку, а в сентябре Свердловский театр юного зрителя превращает книгу в одноименный спектакль «Малахитовая шкатулка».

«Литературная газета», «Комсомольская правда», «Октябрь» публикуют статьи о «Малахитовой шкатулке» и ее авторе.

Для широкого читателя, для большинства писателей да и для меня Бажов возникает как бы из «ничего», дебютирующим

в литературе первой книгой. Между тем за его плечами большая жизнь и множество публикаций.

Первые печатные выступления Бажова появляются в 1913 году. Он публикует статью «Д. Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей». Характерно, что эта статья Павла Петровича была о «детской литературе», которая тогда еще так не называлась, но уже существовала.

Бажову, конечно, и в голову не приходило, что сам он станет преимущественно и, во всяком случае, в значительной части своего творчества детским писателем. Так ли уж случайно, что и первая инсценировка «Малахитовой шкатулки» шла именно в детском театре, в ТЮЗе? Да и случаен ли самый выбор профессии? Двадцатилетним Бажов становится учителем начальной школы в деревне Шайдурихе, то есть идет к детям. А ведь у него после выхода из семинарии открывался широкий выбор трудовых дорог. Из них он избирает педагогический путь, то есть путь к детским сердцам и душам.

По литературной классификации Павла Петровича относят к писателям для взрослых и публикуют его сказы во «взрослых» издательствах: Свердлгиз, «Советский писатель», Гослитиздат, а его главный читатель — детвора и юношество. Детгиз переиздает его позднее других, но суть дела не меняется. Дети читают книги, не глядя на марку издательства, а по «запаху» самой книги, по ее запеву. А запев «Малахитовой шкатулки» начинается со слов: «В детстве пришлось мне...» и т. д. о том, что было в детстве, какие сказки для детей (именно для детей) рассказывал дедушка Слышко у караулки на Думной горе.

Не стремясь ограничить детской литературой Бажова и тем паче обеднить диапазон его звучания, все же замечу, что пока Павел Петрович не значится в обойме детских писателей-классиков. Хотя справедливо заметить, что Бажов один из первых утверждал своими сказами и сказками тему труда в литературе для детей, одним из первых заговорил в детской литературе о рабочем классе, о Ленине и, утверждая мастерство, раскрывал в немеркнущих образах творческое начало фабричного, заводского труда. Это не просто заслуга, а нечто гораздо большее.

Время поставит Бажова, как и Мамина-Сибиряка, в классический ряд плеяды детских, или, точнее, и детских писателей. Историю детской литературы пишет сама история. А коли это так, то нам нечего сомневаться, что Бажов войдет в нее и займет в ней свое заслуженное место. Вообще говоря, исто-

рия — памятливая наука, неумолимо корректирующая погрешности современников, восстанавливая или зачеркивая все, что подлежит увековечению или, наоборот, забвению.

Не будем, однако, вдаваться в эти тонкости и хотя бы ускоренно и поверхностно познакомимся с жизнью Бажова до «Малахитовой шкатулки».

О ДЕТСТВЕ И ОТРОЧЕСТВЕ

Если верить некоторым календарям, то числом рождения Павла Петровича следует считать 28 января 1879 года. Если же обратиться к метрической выписи о рождении Павла Петровича Бажова, то днем рождения будет 27 января, или 15 января по старому стилю. Расхождение в одном дне произошло потому, что не все мы (и я) знали о разнице дней между календарными числами нового и старого стилей. В прошлом, XIX веке, в котором и родился Бажов, эта разница составляла не 13 дней, а 12. Таким образом, 15 + 12 = 27. Так и условимся на будущее.

Павел Петрович родился в городе Сысерти (тогда Сысертский завод) в рабочей семье пудлинговщика Петра Васильевича и Августы Степановны Бажовых.

О детстве Бажова сохранилось достаточно рассказов, воспоминаний, которые, может быть, и следовало хотя бы кратко объединить в особую главу. Однако же при всей красочности и занимательности повествований третьих лиц мне кажется предпочтительнее послушать самого Бажова. О своем детстве Павел Петрович пишет в книгах «Уральские были», «Зеленая кобылка», «Дальнее — близкое» и в авторском предисловии к книге «Малахитовая шкатулка». Эти четыре произведения расскажут наиболее достоверно, каким было заводское детство Паши Бажова, как был им любим Александр Сергеевич Пушкин, почему мальчик оказался в Екатеринбургском духовном училище...

В наше время трудно представить старую начальную школу, где битье, подзатыльники, стояние на коленях учеников были общепринятыми способами усвоения грамоты.

Маленький Паша Бажов хотя и учился в такой земской школе, в которой битье детей было не обязательным спутником преподавания, все же начальный курс образования не оставил у него радужных воспоминаний... Но несмотря на это школьник Паша Бажов вынес знания, обеспечивающие дальнейшее обра-

зование. Он мог продолжить его только в духовном училище. Плата за обучение в остальных учебных заведениях была очень высокой и недоступной для семьи Бажовых, едва сводившей, как говорят, концы с концами — от получки до получки.

Духовное училище с его нравами, пережитками жестокой бурсы стало школой познания добра и зла. Может быть, именно здесь в отроческую душу Паши Бажова жизнь посеяла первые зерна раздумий о несправедливости распределения благ и неравенстве людей. Но...

Но тогда ему еще не исполнилось и четырнадцати лет. Тогда, в те глухие годы, он даже приблизительно не мог представить иное устройство жизни. Он тем более не мог выйти из круга «незыблемых устоев», потому что они подкреплялись самым высшим властителем мира — богом. Богом, силу и власть которого над всеми и всем сущим, неустанно и весьма изощренно внушали в духовном училище.

Не зная, как и в каких формах это происходило в специальном церковном училище, я все же могу представить, что даже в «светских» средних школах обучение закону божьему было строже строгого. Я учился позднее Бажова примерно на четверть века и отлично помню, до какой степени были запретны даже малейшие сомнения в том, что утверждалось извечным и единственно правильным. И если кто-то по недомыслию или отроческой любознательности пробовал выяснять явно «несуразное»... такого подвергали осмеянию, иногда и наказанию исключением из учебного заведения. Будь то торговая школа или коммерческое училище, далекие от религии.

При всем при этом стены духовного училища не отгораживали подростка Бажова от жизни Екатеринбурга, города золотопромышленников, купцов, перекупщиков и рабочего люда. Наблюдательный и зоркий мальчик, надо полагать, накапливал впечатления, надеясь найти объяснение им в книгах.

Читал он много, читал вдумчиво и усердно. Но круг чтения, как и все, был заботливо ограничен властями, оберегающими господство хозяев заводов, рудников, приисков и всего, чем неисповедимо был богат Урал.

Как будто все обстоятельства жизни были в сговоре, чтобы тихого, скромного, малословного паренька невысокого росточка приручить и поставить на службу в ряды тех, кто сеял мракобесие, угождал имущим власть.

Преуспевание в учении открывало путь для дальнейшего продолжения образования. Если бы материальные возможности позволили, Павел Бажов мог бы продолжить обучение в гимна-

зии, в реальном училище или где-то еще, навсегда покончив с вынужденной злополучной стезей духовного направления. Однако...

Однако находились добрые советчики, а вместе с ними и подтверждения того, что духовная семинария позволяет стать учителем или избрать какую-то иную гуманитарную профессию. А главное — малая плата за учение. И это решило исход.

Павел Бажов в 14 лет стал учеником Пермской духовной семинарии...

ПЕРМСКАЯ ЮНОСТЬ

О шести годах пермской юности Бажова известно менее, чем о любом другом периоде его жизни. Он и сам не очень, скорее, очень не любил рассказывать о семинарии. Даже в семье Павла Петровича знают мало об этих годах, ну а уж такие, как я — тем более. Может быть, не хотелось ворошить ему тяготы этих лет, а они были. Несомненно, нужда, борьба за хлеб насущный, сам семинарский режим, распущенность и нигилизм семинаристов, вымогательства, попойки, любовные похождения однокашников для цельной, нравственно устойчивой и, я бы сказал, скромнейшей натуры Бажова (каким он оставался до преклонных лет) были неприятны.

А об этих годах жизни Павла Петровича в Перми хочется все же знать как можно больше, потому что именно в эти шесть лет отрок становился юношей, а юноша переступил порог зрелости.

По отрывкам читанного о Бажове в Перми и слышанного от него можно достаточно достоверно представить картину встречи четырнадцатилетнего Бажова с крупнейшим на Урале городом конца прошлого века. Городом огромной евразийской губернии, из которой выделились в наше время несколько областей, в том числе Свердловская, Челябинская и части других областных территорий.

Это сейчас распростершаяся на семьдесят километров Пермь с современным миллионным населением называет свою прабабку старым, низкорослым и малым городом. А тогда она для всякого приезжего была новой, молодой, белой, с множеством каменных домов, образующих точно прямоугольные кварталы ведомственных и жилых зданий.

В наши дни пермские многоэтажные дома уже не дома, а наглядное свидетельство того, каким будет город ближайших

лет. Тогда же двух-трехэтажные особняки были архитектурными чудесами...

Проспект с широченным зеленым бульваром и такими же широченными проездами пленял подростка Бажова.

А удивительная булыжная мостовая Сибирской улицы, исключающая грязь? Она так же нарядно проходила через весь город от Камы, как и широкий озелененный проспект.

Извозчичья биржа!.. Пролетки на резиновых шинах!.. Капитальные водораздаточные будки!.. Даже тюрьма, именовавшаяся здесь губернским тюремным замком, и та ложилась на чашу весов превосходства губернского города над остальными городами и тем же, самым большим в губернии, уездным Екатеринбургом, где дом магната золотопромышленника Харитонова превосходил по красоте пермский губернаторский дом. И все же не зря, хотя и с большим преувеличением, патриоты Перми называют ее уральским Петербургом.

Так отрывочно рассказывал мне Павел Петрович о Перми тех лет. Такой помню я ее двадцать пять лет спустя. За те годы медленного роста городов не так много изменилось в ней.

Не трудно представить и понять состояние юнца Бажова, увидевшего епархиального архиерея в золотой митре, сверкающей каменьями, и в солнечном парчовом одеянии в окружении таких же нарядных священнослужителей всех чинов и рангов. А рядом...

Рядом, тут же на паперти величественного, многоярусного кафедрального собора, толпа нищих в лохмотьях, калек, юродивых, выпрашивающих милостыньку.

Производило ли это впечатление на семинариста Бажова? Заставляло ли его, живущего в жалкой каморке, о чем-то задуматься?

Надо полагать, виденное он не принимал за должное, справедливое, предуготованное тем, восседающим на небесах, с которым он, может быть, тогда еще не вступил в разлад.

Все это еще только робкое продолжение начавшихся в Екатеринбурге (где менее заметно были размежеваны люди) раздумий. Здесь же все отчетливее, обнаженнее и наглее.

Во всем блеске бриллиантового многокаратового ослепления сановная и торгово-промышленная знать, зачумленная до головокружения пресыщенностью, изнемогает от переизбытка роскоши. И...

И тут же за речкой Егошихой, через мост, мотовилихинский муравейник нужды и лишений, завод самого длинного рабочего дня, самой короткой продолжительности жизни...

Видел ли все это подрастающий Бажов?

— Видел и понимал,— признается мне Павел Петрович спустя много лет, когда мы коротали зимние вечера, сумерничая подле топящейся печи-голландки.

Малословно, но картинно воскрешает он офицеров, расцвеченных в семь семицветных радуг и разодетых в пух и прах, барынь в муаре со шлейфами, мчимых орловскими серыми или иссиня-вороными чистокровными рысаками баснословной цены. И тут же...

И тут же окраинная голытьба деревянных, ухабистых улиц обездоленной Перми. Перми мещан, Перми мелких служилых людей. Перми, перебивающейся с редьки на квас... Перми деклассированных низов и рождающегося организованного классового пролетарского негодования, накапливающего силы для революционного переустройства родного города и всей загнивающей с царской головы великой державы.

НА ПОДСТУПАХ ЗРЕЛОСТИ

Пермь — перевальный город. Здесь водный камский (а следовательно, и волжский) путь пересекается с железнодорожным путем. Через Пермь европейские товары идут в Азию и азиатские в Европу. Теперь эти перевальные пути расширились, а тогда Пермь в этом отношении почти не имела соперников.

Здесь Павел Петрович впервые видит большую судоходную реку, большие пароходы, новую для него портовую жизнь. Тьма пассажиров и грузчиков. И опять же...

И опять же разительное деление. Каюты первого класса, отделанные под птичий глаз, и обшарпанные нары прикормовой нижней палубы, и сама корма, где голь, голод, гнет спят в обнимку без светлых надежд даже во сне.

Увиденное впечатляет не менее прочитанного. А то и другое, взаимодополняясь, становилось силой, противоборствующей закостенелому распорядку правоты бесправия и предначертанности благополучия для одних и несчастий для других.

Пермь нельзя отнести к стародворянским городам, где сохранялись потомственные аристократические роды. Пермь позволительнее назвать разночинным городом, но при этом у далекой от столиц Перми были свои преимущества. Не числясь городом ссыльных и пересыльных, она все же была таким городом. Городом, в котором жили, останавливались многие из тех, кто нес новое, боролся с ненавистным режимом царей, кто про-

пагандировал передовое или был прогрессивным в науке, литературе, технике.

Все это не могло не сказаться на молодежи, и в том числе на жадном до знаний Бажове.

Можно сожалеть, что Павлом Петровичем и его жизнеописателями не так много сказано об его юности. Справедливо признаться и мне, что и я был не так любознателен, как следовало бы.

Пермские годы могли бы стать захватывающим повествованием о самой горячей поре жизни Бажова. И все же даже то немногое, чем я располагаю, говорит о том, что значили и как отозвались семинарские годы Павла Петровича.

Не может быть двух мнений о том, что духовная семинария готовила верных пастырей православной церкви. Этому было подчинено все в обучении и внеклассном надзоре за семинаристами. Но и на самые ухищренные действия семинарии находились еще более искусные противодействия. Например, тайные библиотеки с запрещенными для чтения семинаристами книгами. Одной из таких библиотек заведовал юный Бажов.

Нельзя было также приставить всеслышащее ухо к каждому вольному и супротивному разговору семинаристов, остающихся вне семинарского надзора. И уж конечно, нельзя было приставить соглядатая к внутреннему миру одиночек, каким был тихий Бажов, не одержимый запальчивой откровенностью. Она была особенно неуместна в бдительной семинарии, где ябедничество едва ли относилось к пороку, а скорее — к исповедально спасительным заслугам предупреждения заблуждающихся агнцев от пагубных влияний цареотступнической черни и богопротивного вольнодумия.

Семинария вынуждена была знакомить своих питомцев с широким кругом философских течений, без изучения которых нельзя было подготовить церковника-проповедника, способного противоборствовать ненавистникам церкви.

Невозможно было обойтись и без изучения философских трудов Канта, без опаснейшего учения Гегеля, без развенчания ядовито-безбожного Вольтера и всей плеяды мыслителей, от древних начиная и новейшими кончая.

Эта семинарская программа часто достигала обратного и, не предполагая того, пропагандировала атеизм, способствовала расширению политических знаний.

Бажов не только читал любимого им Чехова и наслаждался художественными произведениями его современников. Бажов не обошел и Прудона, Кропоткина, Лаврова, К. Маркса. Бажову

посчастливилось познакомиться и с первыми работами Владимира Ильича Ленина.

Вполне естественно, что бессистемное чтение книг, тех, что попадались под руку юноше, не могло безупречно сформировать его мировоззрение. Поиски его жизненного пути не обошлись без блужданий и отклонений, только преодолев которые, Бажов становится верным ленинцем до конца своих дней.

Однако были предметы, которые преподавались в семинарии, как нигде, обстоятельно и безупречно и которые очень помогли Бажову в его литературной деятельности. Это касается прежде всего изучения языков.

О НАСЛЕДИИ ДРЕВНОСТИ

В семинарии древние языки (и древняя литература), как ни в одном другом учебном заведении России, преподавались основательно.

Греческий и латинский языки приобщали Бажова к сочинениям выдающихся мастеров слова далекого прошлого, поэтам, мыслителям. Нет сомнений, что юный Бажов знал Овидия, Вергилия, Плавта, Цицерона, Горация, Теренция, Катулла и неперечислимо многие литературные имена, произведения которых он читал в оригиналах.

Изучение мифов, религий различных веков и народов, античных трактатов на литературные темы, речей прославленных ораторов и всего, что входило в курс семинарского чтения, не могло не сказаться на впечатлительном Бажове и в дальнейшем на его творчестве.

Не умаляя значения в творчестве Бажова Думной горы и дедушки Слышко, было бы легкомысленным забывать и о некоторых других возвышенностях, например, таких, как Олимп, Парнас, куда Бажов также имел доступ. Знание языков, нравов богов, профессиональных функций муз,— Павел Петрович не мог там оказаться преследуемым чужаком, тем более что всемогущее олимпийское население обрело к этому времени новое качество условно-мифических существ. Но при этом литературно-познавательное общение с ними, как и с персонажами сказов дедушки Слышко, стало реально вдохновляющим.

Спустя годы и годы при чтении сказов Павла Петровича невольно приходит на ум, что древние литературы и, конечно, античные авторы вдохнули что-то свое в уральскую «Малахитовую шкатулку».

Утверждать это категорически неправомерно хотя бы потому, что я был бы должен привести неоспоримые тому доказательства, а для этого нужно располагать большим, чем то, что есть в моих запасах. Но и при этом...

Но и при этом, обращаясь к аналогиям, невольно спрашиваешь себя... Коли великий Пушкин, а до этого Ломоносов, Державин, Жуковский и позднее Фет, Брюсов и другие считали себя законными наследниками древних и древнейших литератур, почему же знаток этого наследия Бажов должен пренебречь им? Нельзя не допустить этого, тем более что при встречах и в письмах Бажов часто касался сюжетов и образов, странствующих не одно тысячелетие и каждый раз появляющихся в новых и новых обличиях.

В таких случаях предпочтительнее ошибаться, нежели боязливо прятать свои суждения... А вдруг да они не очень ошибочны.

Не относя себя к знатокам фольклора, особенно фольклора Западного Урала (хотя и слышал множество волшебных историй), я все же не могу вспомнить достойных прообразов многих персонажей сказовых творений Павла Петровича.

Так, например, Данило-мастер, глубинно-философский образ, и его каменный цветок мне кажутся, с одной стороны, уходящими в седеющую древность, с другой — самовыражением автора этого сказа, неустанно ищущего совершенное, рождающего в муках каждый новый сказ... Для этого свидетели не нужны.

Боязно и неучтиво утверждать, что подземная богиня — Хозяйка Медной горы не была порождена воображением уральского люда, добывающего малахит. Я могу только сказать, что и о ее предтече мне не довелось слышать. В этом я не повинен. Не повинен я и в том, что какая-то бледная тень ее запомнилась, мелькнув в сонме каких-то древних божеств.

И если я скажу, что перекличку с некоторыми сказами Павла Петровича следует искать в античном мире, мне зададут справедливый вопрос:

— А чем вы это можете подтвердить?

И я также отвечу вопросом на вопрос:

— А чем вы это можете опровергнуть?

И я снова спрошу себя, почему этим увлекательным поискам так мало уделено внимания. Разве поиски, а вместе с ними и возможные находки умалили бы значимость Бажова как писателя? Писателя куда более образованного и эрудированного, чем он иногда предстает, ограничиваемый только местными фольклорными накоплениями.

Вопрос преемственности бажовских сюжетов великому наследию древнейших культур представляется мне далеко не праздным. Может быть, не так уж бесполезно заняться «литературной археологией»?

Однако, как говорят, «забытое не убитое — вспомнишь и оживет»... Повторяя эту истину, я верю, что пермские историки, филологи, краеведы или кто-то еще напишут книгу о пермской юности Павла Петровича. И может быть, мои пермские главы послужат хотя бы поводом для создания обстоятельного повествования.

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Преуспевающему Бажову после окончания семинарии широко распахиваются двери для дальнейшего совершенствования. Ему рекомендуется продолжить образование в духовной академии и сулится блестящая будущность служителя церкви на ее высоких постах.

Только теперь не тот уже Бажов и не те обстоятельства. Павел Петрович мечтает об университете. Он уже не может далее поступиться и самой малостью.

Университет и только университет. Для этого у него есть все основания, кроме одного. А это «одно» состояло в том, что для закончившего духовную семинарию был закрыт доступ в светское высшее учебное заведение.

Оставалось единственное — учительствование. И оно началось в селе Шайдурихе близ Невьянска. Но и там судьба не была благосклонна к нему. Его, как окончившего духовную семинарию, обязали преподавать закон божий, чем занимались обычно священники.

Отказ преподавать то, что противоречило его убеждениям, вынудил Павла Петровича расстаться с Шайдурихой.

Далее началось учительствование в Екатеринбурге, где Павел Петрович преподавал русский язык. Это была пора широкого знакомства с жизнью народа, собирания и записывания произведений устного творчества.

Мне бы не хотелось повторять написанное биографами Бажова, и поэтому я напомню только о том, что Бажов в 1905 году познакомился с выдающимся революционером-ленинцем Яковом Михайловичем Свердловым, имя которого осталось жить крупнейшим уральским городом Свердловском. И как с этого знакомства юноша Павел Бажов бесповоротно вступает на революционный путь.

Прочитать об этом полезно не только для того, чтобы лучше познакомиться с трудной, но светлой жизнью коммуниста Бажова, но и для того, чтобы узнать о недавних и теперь уже далеких годах становления самобытного, могущественного, богатейшего, героического, рабочего, индустриального края с кратким, как Русь, названием из четырех букв: Урал.

Великий это край, и славить его, воспевать его — большое счастье для певца.

Революционный 1917 год застает Бажова в городе Камышлове.

Сразу после свержения самодержавия в феврале 1917 года камышловский учитель Павел Петрович Бажов безоговорочно примыкает к революции. Он борется за власть Советов, за создание самого справедливого государства без поработителей — помещиков и капиталистов.

Цель для молодого учителя ясна. Однако же не все и не всегда к ясной цели приходили легко и безупречно в это кипучее, на редкость шумное, разноголосое, многопартийное лето 1917 года.

Известно, что учитель Бажов был избран в первый камышловский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В июле того же года Бажов редактирует камышловскую городскую газету.

В 1918 году Бажов вступает в члены Российской Коммунистической партии. Доброволец Красной Армии. Секретарь партийной ячейки штаба 29-й Уральской дивизии. Создает газету «Окопная правда».

Бажов в самом пекле страшнейшей, кровавой гражданской войны. Под злым натиском черного адмирала Колчака, командующего отъявленными бандами белогвардейцев, молодая Красная Армия отходит на запад от Перми. Красная Пермь становится белой. Коммунист Бажов оказывается в руках врагов. Но ненадолго. Через несколько дней он счастливо бежит. Затем скрывается под чужим именем. Фамилия Бажов с небольшим изменением букв превращается в Бахеев. Павел Петрович показывал мне на бумаге, как это было сделано.

Долгая, трудная подпольная работа в Сибири. Затем открытая — боевая — в партизанском отряде.

Колчак был жесток и грозен, да недолговечен. Его армия отвернулась от него. Такие, как товарищ Бахеев, помогают открыть глаза обманутому сибирскому крестьянству.

Рушится жалкое колчаковское подобие самодержавия, по-

строенное из игранных и битых карт, на бездарном вранье своих и пришлых авантюристов.

В декабре товарищ Бахеев участвует в освобождении от колчаковских банд города Усть-Каменогорска и, став снова товарищем Бажовым, избирается председателем уездного комитета РКП(б), а позднее, на партийной конференции в губернском городе Семипалатинске, Бажов избирается членом губкома РКП(б) и назначается ответственным за губернскую печать.

Где-то здесь я должен остановить свое перо и внести существенные исправления и дополнения, представив их новой, самостоятельной главой, которую обязывает вписать доселе незнакомый мне человек. Человек, оказавший неоценимую услугу не только мне, но всем пишущим и читающим о Павле Петровиче.

Имя этого человека — Николай Семенович Рахвалов.

Началось все с письма Рахвалова ко мне, где он, прочитавший эту книгу в первом издании, мягко замечает, что Бажов, выйдя из подполья, остался Бахеевым. Остался потому, что фамилия Бажов в те годы ничего и никому не говорила. А вот Бахеев было имя, которое звучало, звало и вело многих и очень многих, сбросивших оковы колчаковщины...

БАХЕЕВ—БАЖОВ

Так озаглавлена книга Н. С. Рахвалова, существующая пока на правах рукописи в нескольких библиотеках.

Книга захватывает читателя с первой страницы, с которой начинается рассказ о неприметном страховом агенте, жившем в Усть-Каменогорске возле Шмелева лога, в домике Матрены Антоновны Рябовой. И кому бы пришло в голову, что невысоконький, тихонький страховой агент с маленькими ручками и ножками Павел Петрович Бахеев связан с революционным подпольем, партизанскими отрядами, что его перу принадлежат листовки, что его связными являются такие же неприметные, находящиеся вне подозрения, люди.

Даже самый старательный пересказ книги не заменяет ее прочтения. Нет возможности даже назвать поименно действующих лиц — героев этой рукописи. Но можно сказать, что Бажов, которого мы знаем по описаниям как смиренного сказителя, на склоне лет в книге Н. С. Рахвалова предстает отважным воином, героическим комиссаром, неутомимым советским и партийным работником, пламенным журналистом-редактором.

Без этого усть-каменогорского периода жизни Бажова, как и без пермского периода, биография Бажова не будет полной, невозможно будет представить того, как складывалась его личность во всем многообразии редчайших человеческих достоинств.

Документально безупречно и выразительно Николай Семенович Рахвалов воссоздает картину становления Советской власти в Восточном Казахстане. Перед читателем предстают героические образы героев той поры. Бесстрашные военачальники, командиры отрядов, организаторы ревкомов. Каждый из которых достоин особых и подробных описаний, но в своей тесной рукописи «Бахеев — Бажов» Рахвалову приходится уделять им всего лишь несколько строк.

После разгрома колчаковщины возникает особая нехватка в кадрах, способных руководить восстанавливаемыми советскими учреждениями. Кем, только кем не пришлось быть товарищу Бахееву — Бажову, выполняя поручения партии.

Личное общение с Бажовым и позднейшие разыскания Н. С. Рахвалова позволяют ему показать Павла Петровича во всей многогранности его неутомимой деятельности. Партийного работника. Организатора печати, учреждений народного образования. Участника съездов. Лектора. Продработника. Дипломата (пришлось быть и им — китайская граница рядом). Учредителем национальных казахских школ. Организатором самодеятельных театров. Одним из создателей Крестьянского университета в Усть-Каменогорске...

Сколько бы я ни перечислял деяний Павла Петровича, все мои перечисления останутся перечислениями. И так жаль, что полиграфическая судьба пока еще неблагосклонна к рукописи Н. С. Рахвалова «Бахеев — Бажов». Может быть, ее автор и не принадлежит к филологическим искусникам. Может быть... Зато в этой книге столько непосредственности, такое дыхание времени и очарование простоты повествования, что излишняя забота о редакторском «причесывании» ее строк в данном, конкретном случае не столько украсила бы ее главы, сколько опреснила бы их, как это случается иногда с мемуарными записями.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Рассказанное Николаем Семеновичем Рахваловым в одном из писем ко мне стало для меня совершенно неожиданным открытием. Может быть, это будет интересным и для читающего

эти строки. Поэтому я приведу выписки из письма Николая Семеновича.

Вот что он пишет.

* * *

«...В последнюю мою поездку, летом 1971 года, в Усть-Каменогорск я заехал в Алма-Ату. В столице Казахстана живет русский советский писатель Николай Иванович Анов.

В мае 1920 года Николай Иванович сменил Павла Петровича Бахеева на посту редактора уездной газеты «Советская власть».

Редакция ютилась тогда в типографии, небольшом одноэтажном домике, недалеко от Народного Дома. Маленький столик, колченогий стул, чернильница-непроливашка и тонкая папка селькоровских писем,— перечисляет Николай Иванович, — вот и все имущество редакции.

О том, что П. П. Бахеев превратился в Павла Петровича Бажова, Анов узнал только в 1955 году.

В 1940 году Николай Иванович выпустил в Москве, в издательстве «Советский писатель», приключенческий роман «Пропавший брат», отразив в нем в какой-то мере биографию собственного брата, попавшего из голодного Петрограда в годы гражданской войны в Сибирь. Один из главных героев романа революционер-подпольщик Батенин. Под этой фамилией Николай Иванович показал Павла Петровича Бахеева — руководителя Усть-Каменогорской партийной организации большевиков.

Значительно позже, узнав, что Бахеев во время колчаковщины руководил местным подпольем, Николай Иванович для повторного издания романа сделал его и руководителем широко известного восстания в Усть-Каменогорской крепости.

В предисловии к книге, выпущенной в 1960 году в Алма-Ате, автор объяснил, почему он приписал Бахееву участие в восстании, хотя Павел Петрович в тот момент в Усть-Каменогорске не был. «Пропавший брат» — произведение приключенческого жанра, а не историческое исследование. Автор имел право не только на домысел, но и на вымысел.

И мы с этим согласны. Тем более, что характер героя, выписанный в романе, вполне совпадает с характером прототипа. Прочитав «Пропавшего брата», вдова писателя Валентина Александровна Бажова нашла, что немало черт героя романа Батенина были присущи Павлу Петровичу...»

«...Никаких исторических документов, касающихся жизни и деятельности в Усть-Каменогорске Павла Петровича Бажова

у Николая Ивановича не оказалось. Зато мы обменялись своими воспоминаниями о съезде, в котором оба участвовали, припомнили имена общих знакомых и друзей того времени...»

* * *

Все это лишний раз подтверждает, что период гражданской войны был значительным в жизни Бажова. Может быть, он был даже самым напряженным, героическим, необыкновенно активным. Поэтому так хочется надеяться, что рукопись Рахвалова «Бахеев — Бажов», так долго плавающая по воле волн, найдет желанный берег, отзывчивого редактора и станет достоянием читателя...

ОТКЛОНЕНИЕ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ

Где-то, в какой-то из глав этой тетради, хотелось бы выяснить для себя и для других, когда же начался Бажов как писатель.

Все имеет свой первоисток, и всему есть начало. Я не раз заводил этот разговор, но продолжения он не имел. Павел Петрович или не хотел, или не знал, или не верил в свой литературный первоисток. А он был... Его не могло не быть... И если о нем умалчивает сама «река», то попробуем пройти по ее «биогеографической» карте вверх по течению и хотя бы примерно довообразить в содружестве с логикой желаемое. Может быть, оно будет близким к истине.

Как вам кажется — зря ли, случайно ли, просто ли так, молодой Бажов, колеся по Уралу, записывал народные речения, пословицы, сказания, сюжеты? Делая это из года в год, обычно летом, он составил множество таких записей.

Не для заполнения же ящиков письменного стола вел он эту длительную словесную поисковую работу.

Это одна улика. Есть и другая.

По окончании семинарии перед Павлом Петровичем открывалось несколько трудовых путей, а он избрал преподавание литературы. Значит, эта дорога ему была ближе и дороже всех иных дорог.

Наконец, сотрудничество в газетах, раннее писание стихов, дар устного рассказывания, пристрастие к чтению художественной литературы также нельзя отнести только к приятному времяпрепровождению или, как теперь принято говорить — к хобби.

При всей близости наших отношений и доверительности во многих тонких тонкостях я бы не посмел задать Бажову прямой вопрос: мечтал ли он стать писателем еще в пермской семинарии?

Это было бы неучтиво и в чем-то жестоковато. Если бы он ответил — «мечтал», то возникал бы сам собой второй вопрос: а почему не стал, коли мечтал? Не стал им до 60 лет?

Теперь мне, пусть я ошибаюсь, кажется, что Бажов мечтал стать писателем с давней детской влюбленности в Пушкина и особенно после второй, уже юношеской, любви к Чехову.

Но хотеть стать и стать, как говорят доморощенные остряки,— «дистанция на сто двадцать две станции».

Как я уже говорил, а если не говорил, то скажу сейчас, — в жизни Бажова была одна прекрасная фея. Эта милая фея и одновременно муза, по имени Застенчивость, была ведьмее всех ведьм на литературной стезе Павла Петровича.

Диву даешься, как мог такой человек быть отважным подпольщиком, непримиримым комиссаром, пламенным оратором — и вдруг...

Не желая обидеть начинающих и вступающих на литературный путь во все времена, нужно отметить некоторую их не то чтобы напористость, но, во всяком случае, настойчивость и, уж конечно, умение защитить себя и свои первые литературные произведения.

Этим качеством Павел Петрович катастрофически не обладал.

Пусть я ошибаюсь, пусть с этим не согласился бы и сам Павел Петрович, но теперь, спустя годы, я настойчиво утверждаю, что первые художественные произведения Бажова могли бы появиться в Перми еще в самом начале нашего века.

Застенчивость и еще худшая из печальных праведниц — Робость парализовали в Павле Петровиче и ту минимальную смелость, которая помогла бы ему появиться в петербургских или московских редакциях газет и журналов, где так нуждались в «свежинках» об окраинах гигантской евразийской империи. В том числе об ее удивительной Пермской губернии, уроженцем которой был Бажов.

Не верьте мне! Посмейтесь надо мной, только никто не оспорит, как прекрасен, учтив, деликатен, «джентльменен», красноречиво риторичен был молодой Бажов, что только все это, вместе взятое, очаровало бы любого из столичных издателей или редакторов.

Они увидели бы в нем не пролазу из глубокой провинции, а

прелестного, благородного молодого человека, доверчиво принесшего свои творения на суд в столичные редакции.

Я глубоко верю, больше того, ручаюсь, что в столице нашелся бы вдумчивый, благожелательный работник редакции, который бы увидел искру божию в любой из бажовских рукописей. Пусть я опять ошибаюсь, утверждая, что тот, кто оказался талантливым в шестьдесят лет, был им и в шестнадцать, и в двадцать шесть... Другое дело, что этого не удалось разглядеть. И виной этому, повторяю я снова и снова, все те же деликатные госпожи: Застенчивость и Робость. Они, как мы увидим, и в годы широкого признания таланта Павла Петровича не оставляли его.

Скажите, пожалуйста, разве не было оснований опубликовать очерки, допустим, о дедушке Слышко, о горнозаводских былях-небылях, скажем, до 1910 года? И если бы это произошло, то так ли уж много потребуется воображения, чтобы представить, какой могла бы стать литературная судьба молодого, полного сил писателя Бажова.

Этого не произошло.

ЖУРНАЛИСТ РОЖДАЕТ ПИСАТЕЛЯ

Проучительствовавшему до 1917 года Павлу Петровичу Бажову сама Великая Октябрьская революция избрала профессию и жизненный путь.

Правда, в те годы, как мы уже знаем из прочитанного, Бажову было не до тонких материй филигранной словесности. Сводки с фронтов. Борьба с бандами. Разруха. Ликвидация неграмотности. Основы политического просвещения. Сложнейшее внешнеполитическое положение страны. Подступы к реконструкции народного хозяйства.

Журналистская деятельность поглощает все силы Бажова. Об этом наиболее подробно рассказывает в своем исследовании «Журналист первого призыва» В. Н. Усачев (Алма-Ата, 1974 г.).

Одно лишь перечисление статей, обзоров, фельетонов, рецензий, заметок, написанных Бажовым, заняло бы многие сотни строк.

О том, как разнообразны темы и заглавия его выступлений в периодической печати, можно судить по этому перечню:

Революция и образование.

Мамин-Сибиряк.

Общегражданский налог восстановления народного хозяйства.
Надо усилить борьбу с частным торговцем.
Отчетности много, а работы мало.
Поповское горе.
Из поездки в Каслинский завод.
Федоськина присуха.
«Стулодав».
Чемберленова кобыла.
Стальной конек и зрячий кучер.
Красная Армия на Урале.
Под завесой Евангелия.
Глубже поднимать пласты самокритики.
Ленинизм живет и побеждает.
Оборвем паутину кулацких сплетен.
Жалованный кафтан.

Журналистика и литература хотя и являются родными сестрами, все же их принято различать (даже организационно) на два Союза: журналистов и писателей. У каждого из этих Союзов (в данном случае — братьев, а не сестер) свои особые, хотя и смежные, задачи.

В частных, досужих беседах во время поездок, дома за веселым чаепитием Павлу Петровичу и мне частенько приходилось касаться пограничной полосы литературы и журналистики. Она всегда выглядела необыкновенно извилистой и к тому же расплывчатой. В некоторых же случаях — «скачущей». И это ее «прыгающее» непостоянство происходило не от того, что и в каком жанре написано, а от того, как, каким пером написалось.

Кажется, международный обзор, очерк о предприятии, заметки о погоде — типичные журналистские материалы, однако же...

Однако же мы знаем такие международные и производственные обзоры, которые становились немеркнущими литературными образцами. Даже «погодные хронички» иногда складывались в книжечки, преисполненные фенологической поэзии.

Все это я говорю к тому, что сквозь журналистские, типично газетные публикации Павла Петровича проглядывала его внутренняя неодолимая потребность статью или фельетон превратить в художественный рассказ, а то и в маленькую повесть. Особенно заманчивы были в этом отношении события деревенской жизни.

Заведуя отделом писем «Крестьянской газеты», Бажов получал тьму-тьмущую сюжетов. Кажется, садись и пиши...

Так только кажется. У газетчика Бажова, занятого повседневной боевой журналистской работой, не было ни времени, ни возможности для отвлечения от главного, текущего. И все же...

И все же писатель Бажов в единоборстве с журналистом Бажовым одерживает некоторые первые победы.

Появляются брошюры и книги, одна из них с показательным заглавием «Уральские были», вышедшая теперь уже в далеком 1924 году. Само название книги показывает, как пробиваются подспудные ключи главного писательского дарования многогранно одаренного Бажова.

После первой книги вскоре выходит вторая — «За советскую правду». И в том же 1926 году появляется в свет исторический труд Павла Петровича о 1905 годе в родном ему Сысертском заводе.

В 1930 году в Свердловске Госиздат публикует брошюру «Пять ступеней коллективизации».

В 1934 году Павел Петрович издает в Свердловске капитальную книгу в сто шестьдесят страниц «Бойцы первого призыва» — о знаменитом полке «Красных орлов». Далее, в 1936 году, следует книга «Формирование на ходу», к истории 254-го Камышловского полка.

Так что к 1939 году — году своего шестидесятилетия, году выхода «Малахитовой шкатулки» — Бажов приходит с хорошим литературно-публицистическим багажом. Если пробежать только по заголовкам опубликованного в периодической печати, то мы увидим, что Бажов-журналист, Бажов-публицист очень давно выясняет свои отношения с Бажовым-писателем. Уже в середине тридцатых годов появляются сказы «Хозяйка Медной горы», «Дорогое имячко» в литературном журнале «Красная новь» и там же «Про великого полоза», «Приказчиковы подошвы». В свердловском «Литературном альмана́хе» Павел Петрович публикует сказы «Сочневы камешки», «Марков камень». Публикует осторожно, бесфамильно: «записал П. Б.», а иногда даже и под уличной фамилией-прозвищем — Колдунков.

Кроме Колдункова, у Павла Петровича было много псевдонимов: Осинцев, Старозаводский, Деревенский и, наконец, Чипонев, что означало: читатель поневоле. Этим псевдонимом он подписывал свои рецензии, как правило резко критические.

Павел Петрович долгое время пребывает в сомнениях — писатель ли он, не обработчик ли только слышанного им от разных лиц, в разных местах? Ему нужно будет много прожить, чтобы понять, что это слышанное было всего лишь истоком, а то и только поводом, а иногда и отдаленной ассоциацией для создания оригинальных произведений, имеющих самостоятельное литературное значение.

Скромность, врожденная деликатность уводят его в тень, а жизнь и все окружающее называют явления и вещи своими именами, выводят Бажова «на свет божий».

Сначала организационно, а потом и внутренне журналист-газетчик, якобы «записыватель» сказов Бажов-Колдунков-Осинцев-Старозаводский-Чипонев уступает место сформировавшемуся, профессиональному писателю П. Бажову.

Как он шел к этому и как пришел, рассказывали многие, рассказывал и я, но лучше других пройденную дорогу знает прошедший по ней. Предоставим об этом слово Павлу Петровичу...

АВТОБИОГРАФИЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

Родился 27 января (15-го старого стиля) 1879 года в Сысертском заводе бывшего Екатеринбургского уезда, Пермской губернии.

Отец по сословию считался крестьянином Полевской волости Екатеринбургского же уезда, но никогда сельским хозяйством не занимался, да и не мог заниматься, так как в Сысертском заводском округе вовсе не было тогда пахотных земельных наделов. Работал отец в пудлингово-сварочных цехах в Сысерти, Северском, Верх-Сысертском и Полевском заводах. К концу своей жизни был служащим — «рухлядным припасным» (это примерно соответствует цеховому завхозу или инструментальщику).

Мать, кроме домашнего хозяйства, занималась рукодельными работами «на заказчика». Навыки этого труда получила в оставшейся еще от крепостничества «барской рукодельне», куда была принята в детстве как сирота.

Как единственный ребенок в семье при двух работоспособных взрослых, я имел возможность получить образование. Отдали меня в духовную школу, где плата за право обучения была значительно ниже против гимназий, не требовалось форменной одежды и была система «общежитий», в ко-

торых содержание было гораздо дешевле, чем на частных квартирах.

В этой духовной школе я и учился десять лет: сначала в Екатеринбургском духовном училище (1889—1893), потом в Пермской духовной семинарии (1893—1899). Окончил курс по первому разряду и получил предложение продолжать образование в духовной академии на положении стипендиата, но от этого предложения отказался и поступил учителем начальной школы в деревню Шайдуриху (нынешнего Невьянского района).

Когда же мне там стали навязывать, как окончившему духовную школу, преподавание закона божия, отказался от учительства в Шайдурихе и поступил учителем русского языка в Екатеринбургское духовное училище, где в свое время учился.

Эту дату — сентябрь 1899 года — и считаю началом своего трудового стажа, хотя в действительности работу по найму начал раньше. Отец мой умер, когда я был еще в четвертом классе семинарии. Последние три года (отец болел почти год) мне пришлось зарабатывать на содержание и учебу, а также помогать матери, у которой к тому времени сильно испортилось зрение. Работа была разная. Чаще всего, конечно, репетиторство, мелкий репортаж в пермских газетах, корректура, обработка статистических материалов, а «летняя практика» порой бывала по самым неожиданным отраслям вроде вскрытия животных, павших от эпизоотии.

С 1899 по ноябрь 1917 года работа была одна — учитель русского языка, сначала в Екатеринбурге, потом в Камышлове. Обычно летние вакации посвящал разъездам по уральским заводам, где собирал фольклорный материал, интересовавший меня с детства. Ставил перед собой задачу сбора побасок-афоризмов, связанных с определенной географической точкой. Впоследствии весь материал этого порядка был потерян вместе с принадлежавшей мне библиотекой, которая была разграблена белогвардейцами, когда они захватили Екатеринбург.

Еще в семинарские годы принимал участие в революционном движении (распространение нелегальной литературы, участие в школьных листках и т. д.).

С начала Февральской революции ушел в работу общественных организаций. Некоторое время партийно не определился, но все же работал в контакте с рабочими железнодорожного депо, которые стояли на большевистских позициях. С начала открытых военных действий поступил добровольцем

в Красную Армию и принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. В сентябре 1918 года был принят в ряды ВКП(б).

Основной работой была редакторская. С 1924 года стал выступать как автор очерков о старом заводском быте, о работе на фронтах гражданской войны, а также давал материалы по истории полков, в которых приходилось мне быть.

Кроме очерков и статей в газетах, написал свыше сорока сказов на темы уральского рабочего фольклора. Последние работы, на основе устного рабочего творчества, получили высокую оценку.

По этим работам был принят в 1939 году в члены Союза советских писателей, в 1943 году удостоен Государственной премии второй степени, в 1944 году за эти же работы награжден орденом Ленина.

Повышенный интерес советского читателя к литературной моей работе этого вида, а также мое положение старого человека, лично наблюдавшего жизнь прошлого, побуждают меня продолжать оформление уральских сказов и отображать жизнь уральских заводов в дореволюционные годы.

Кроме недостатка систематического политобразования, сильно мешает работать слабость зрения. При начавшемся разложении желтого пятна уже не имею возможности свободно пользоваться рукописью (почти не вижу того, что пишу) и с большим трудом разбираю печатное. Это тормозит и остальные виды моей работы, особенно по редактированию «Уральского современника». Приходится многое воспринимать «на слух», а это и непривычно, и требует гораздо больше времени, но работу, хоть и замедленным темпом, продолжаю.

С февраля 1946 года избран депутатом Верховного Совета СССР от 271-го Красноуфимского избирательного округа, с февраля 1947 года — депутатом Свердловского горсовета от 36-го избирательного округа.

Павел Петрович Бажов. 25 января 1950 г.

О НЕДОСТАЮЩИХ ПОДРОБНОСТЯХ

О Павле Петровиче Бажове написано больше, чем написал он. Полная библиография написанного о Бажове превышает по числу страниц бóльшую книгу, чем эта.

Первую книгу о жизни и творчестве Павла Петровича напи-

сала критик и литературовед Людмила Ивановна Скорино. Эта книга была начата ею не без участия Павла Петровича в 1942 году. Она была выпущена издательством «Советский писатель» в 1947 году под названием «Павел Петрович Бажов».

Коренной уральский писатель Константин Васильевич Боголюбов опубликовал книгу о Павле Петровиче «Народный писатель». Вышла она в Свердловском издательстве в 1955 году.

Наибольшее число книг о Бажове, изданных в различные годы (от 1953 до 1976 г.) в местных и столичных издательствах, принадлежит перу свердловского критика и литературоведа Михаила Адриановича Батина.

Писательница-свердловчанка Елена Евгеньевна Хоринская создала книгу для детей и юношества «Наш Бажов». Книга опубликована Средне-Уральским книжным издательством в 1968 году.

Не вдаваясь в разбор этих книг, я полагаю, что каждая из них, одна больше, другая меньше, обогатит прочитавшего их сведениями о многогранной и очень интересной жизни Бажова, его творчестве и толкованием написанного им.

Особняком стоят книги родных Павла Петровича. Это воспоминания и очерки о творчестве Павла Петровича его жены Валентины Александровны Бажовой, которые не полностью опубликованы и находятся в рукописной экспозиции дома-музея П. П. Бажова в Свердловске.

В этом же ряду книг, написанных, если так позволительно будет выразиться, «с натуры», следует назвать и рекомендовать книгу «Дом на углу», изданную в 1970 году Средне-Уральским книжным издательством. Автор этой книги Ариадна Павловна Бажова-Гайдар пишет в своем коротеньком предисловии:

«Я не литературовед и не писательница. И я не стремилась написать биографию Павла Петровича Бажова или исследование об его творчестве. Просто мне довелось 25 лет прожить рядом с моим отцом, для меня удивительным и неповторимым человеком».

Эта небольшая, не насчитывающая и ста страниц, книжечка дочери об отце необыкновенно лирична и документальна. О ней я еще буду говорить в своих дальнейших тетрадях.

Мне приходится сожалеть, что из множества публикаций о Бажове я назвал лишь некоторые, и главным образом те, к которым я имел или непосредственное касательство, или знал об их авторах более чем о других, очевидно также заслуживающих не меньшего внимания, как и благодарности за их лите-

ратуроведческие труды, воспоминания, библиографические работы. Среди них справедливо будет назвать трудолюбивейшего и неутомимого библиографа, сотрудника библиотеки им. В. Г. Белинского (Свердловск) — Нину Витальевну Кузнецову. Ее многолетним разысканиям обязано появление биобиблиографического указателя—«Павел Петрович Бажов» (1879—1950), выпущенного Свердловским книжным издательством в 1960 году, и надо полагать, что названный указатель вскоре повторно появится в свет расширенным и дополненным. Книга эта, несомненно, украсит вдохновителя этого издания — Свердловскую Государственную публичную библиотеку имени В. Г. Белинского.

Теперь вы видите, как много написано о Бажове, и у вас есть полная возможность восполнить упущения этой книги, задумываемой давным-давно и так долго, почти тридцать лет, протосковавшей в моей памяти, просясь на бумагу.

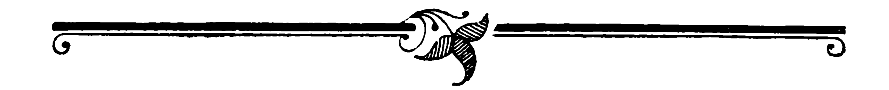
У всякой книги свой срок появления на свет, своя жизнь, свое лицо, свой язык, своя манера общения, свое издательство и своя редакция в нем и даже свой художник... Все свое, кроме впечатления, которое она производит. Это уж — ваше, не зависящее от нее, хотя всякая книга всегда стремится произвести хорошее впечатление, а это ей не всегда, и далеко не всегда, удается.

Это еще труднее, чем придумать название книги или имя новорожденному или убедить иных педантов, что юмор необходим литературному произведению любого жанра, как и соль — всякому блюду, исключая компот из сухих фруктов и форшмак из керченской селедки...

Так внушал мне Павел Петрович без тени улыбки на лице. Так же буду поступать и я, особенно в главах: «Бажов дома» и «Юбилейная неделя», анонсируя которые я стремлюсь удержать вас приятным собеседником хотя бы до сотой страницы моей библиобиолирической книги.

А теперь покорно прошу в следующую, по счету третью, тетрадь.

ТЕТРАДЬ ТРЕТЬЯ



БАЖОВ ДОМА

Бывая в бажовском доме часто и запросто, особенно в годы войны, я не думал, что мне когда-то придется писать книгу о житье-бытье Павла Петровича и его семьи. Я не запоминал специально семейных событий, происшествий и тем более не вел никаких записей. И сейчас вспоминаю то, что запомнилось, что кажется мне интересным и что не написано другими, может быть, потому, что они не знали этого.

Павел Петрович всегда был интересен для меня. Он и в домашней обстановке не был ординарен, и заурядное, обычное окрашивалось им по-своему, по-бажовски. И я расскажу об этом, как хочется, как напишется. Без особой хронологической системы расположения глав. Начну этот раздел «Бажов дома» с памятной копилки.

ПАМЯТНАЯ КОПИЛКА

Про писательскую память кто-то сказал, что она является главной кладовой литературного таланта. Павел Петрович обладал невероятной памятью. Начиная с имен и отчеств третьестепенных знакомых, кончая датами, местами действия, мно-

жество событий хранилось в большой бажовской голове, как в хорошо организованной картотеке.

Но все же, будто не надеясь на себя, будто боясь потерять дорогое для него, Павел Петрович пользовался вещичками-памятками.

Например, я как-то заметил у него на столе окрашенную бабку-панок, или биток, как называют уральский панок игроки в бабки Средней России.

— А это зачем у вас красуется на столе? — спросил я.

— Для упрека. Тысячу лет собираюсь пересказать одну детскую историю и все откладываю. А панок каждый день упрекает меня в этом.

Примерно так ответил тогда Павел Петрович. И вскоре я узнал, что не один панок, а другие безделушки-памятки, вещицы-ассоциации бережно хранились в его рабочей комнате. Они как бы составляли памятную вещевую копилку замыслов, копилку подсказок о ненаписанном. И до последних дней Павел Петрович любил привозить из поездок различные «пустяковины», вплоть до стальной капли — «остывшей брызги» из мартеновского цеха.

В этом сказалась какая-то древняя черта стариков помогать памяти хранением «всякой всячины», иногда самой неожиданной.

В каких-то далеких частностях весь уклад и строй жизни бажовского дома, скажу я, повторяясь, мне был прародным и близким. Потому что в нем все напоминало мое заводское детство.

Дом Павла Петровича в несколько «косметически преображенном» виде сохранился и теперь, став домом-музеем. Сохранился как жилище Павла Петровича и как архитектурная памятка относительно благоустроенного старожильского уральского дома, который я уже «планировочно» описывал в главе о первом визите в этот дом. Теперь же хотелось бы восполнить это описание некоторыми подробностями.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, НО ВЕСЕЛЫЙ...

Двор и огород в старых заводских поселках как бы продолжают жилище коренного уральского жителя. Трудно представить дом старого (в смысле коренного) рабочего без сарая с сеновалом, без помещений для домашних животных, в том числе иногда и для лошади.

В этом смысле двор и огород дома Павла Петровича типичны и отличаются от всех остальных уральских рабочих дворов только планировкой. У Бажовых была в прошлом своя корова. Она и не могла не быть при большой семье.

Покупные яйца стоили дешевле корма для кур и ухода за ними. Но как можно жить, когда не поет петух, когда зимой находившаяся в кухне клетка для кур пуста. В курах, как и в грядах, засеянных маком, не было корысти. В них была необходимая «краска» атмосферы жизни, как, впрочем, и в наличии огорода. Это, я бы сказал, краевая обязательность, порожденная любовью к гряде, наслаждением первыми весенними ростками многолетнего лука «бутуна», живучего хрена, радостью посадки бобов, гороха, капусты, репы, редьки, радостью посева рассады, связанной с самым дорогим для Бажова временем года — весной. Он радовался ее приближению, как юноша, как мальчик.

Из памяти не уходит телефонный звонок в гостиницу. Павел Петрович приглашает к себе:

— Прихо́дите сегодня оба на хрен... Валянушка накопала его в оттаявшей у забора первой проталинке.

«Первый хрен» — это первый весенний завтрак у Бажова. Хрена там будет с кошачьи слезы по сравнению с остальным, но он герой стола, он вестник просыпающейся земли, первое «зеленое» блюдо, как и несколько недель спустя таким будет щавельный суп, а до этого пирожки с зеленым луком и яйцами.

Бажов был и никогда не переставал оставаться поэтом и на огородных грядах. Где-то здесь огород, теряя подсобно-хозяйственное значение, переходил в сферу эстетики. И если бы это было не так, то стал ли бы занятой Павел Петрович писать об огороде на шести убористых страницах письмо.

Вот одно такое письмо-наставление по огородным делам. Оно не представляет для сугубо городского человека никакой эпистолярной ценности, и тем более оно не даст ничего нового занимающемуся огородничеством, но в нем одна из шестидесяти четырех граней многоцветно сверкающего Павла Петровича.

Читайте! А если надоест — перелистните. Ничего не потеряете, кроме одной грани, хотя и очень самобытной, как бы подсвечивающей быт Павла Петровича.

МАНУСКРИПТ ОБ ОГОРОДЕ

«...Итак, начинаю.

Общий взгляд на огород Вам уже известен. В коротких словах — люблю веселый огород, где бестолково перемежаются малина с хреном, капуста с маком и т. д. Все это пускается погуще. Зелень получается буйная, кудрявая. Говорят и пишут, что это не очень полезно для овощей: теснят друг друга. И беспорядочная посадка не одобряется. Настаивают, что в первую очередь надо всерьез продумать разбивку огорода с расчетом, чтоб был плодосмен, чтобы земля не истощалась в каком-то одном направлении.

...Из огородных работ больше всего люблю копать землю. Копаю весной, копаю осенью (зяблевая вспашка). Иногда даже копаю в перевал, когда первый пласт окажется внизу, а второй сверху. Мне это просто доставляет удовольствие: работаешь, потеешь на солнышке, а всегда ли это надо — не задумывался.

...Из своего посадочного опыта. Картошка как будто проще всего, но и тут много неясного. В литературе до сих пор не решен вопрос о густоте посадки. В последнее время стали спорить, что и окучивание не всегда нужно. Ничего я тут не знаю. Мы с женой садим картошку всегда на расстоянии трех четвертей куст от куста и ряд от ряда, независимо от сорта. Окучиваем два раза...

...Садим под лопату, но не глубоко. Подбрасываем на наш куст щепотку золы. Вот и все.

...Самой трудной культурой в данных условиях у нас оказывается лук. Между прочим, заметьте: его требуется немало. Трудность здесь в посадочном материале. Имею в виду привычный русский репчатый лук. Он ведь растение трех-четырехлетнее...

Тыквенные: огурцы, тыквы, кабачки выращиваем предварительно в бумажных пакетах, а по миновании заморозков с пакетами высаживаем на постоянное место, в паровые гряды. Неплохо выходит и высадка в грунт, но на хорошо освещенном и защищенном от севера месте. У Вас, наверно, там полегче.

...У нас в семье без перемен. Все приветствуют, желают успехов на отвоеванном пространстве. Герой Вы все-таки.

Привет Марии Степановне и ребятам от меня и всех наших.

Ваш огородовед П. Бажов.

19.IV-45 г.».

* * *

Не знаю, нужно ли было приводить выдержки из такого письма об огороде. Может быть, его следовало сократить еще более, если бы письмо рассказывало о картошке, луке и бобах, а не о нем самом через картошку, лук и бобы.

Кто знает, когда успешнее «писал» Павел Петрович сказы — сидючи ли за столом или копая огородные гряды. Писатель никогда не перестает быть им, если он писатель.

А теперь, коли уж я начал огородно-картофельный разговор, подверстаю к нему тематически близкую сценку, происходившую в одну из весен на дворе дома Бажовых.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

В военные годы в Свердловске картофель сажали все, кто мог. Бажовы тоже сажали его у себя в огороде и на загородном участке. Там им отводили несколько соток.

Когда бажовская семья собиралась на посадку картофеля, вооружившись лопатами и нагрузившись мешками, я сказал Павлу Петровичу:

— Неужели вам со своего огорода не хватает картофеля?

— Хватает. Даже гостей кормить остается.

— Тогда для чего же вы берете еще загородный участок?

— Жадность одолевает...

— Да ну вас, право... Только силы тратите. Опять ведь выкопают ваш урожай, как в прошлом году, и оставят вам одну ботву.

— Непременно выкопают. Все до последней картошечки унесут.

— Так зачем вам это все надо?

— По несознательности. Умный человек правильно рассудит, а я могу рассуждать только по-своему.

— То есть? — спрашиваю я.

— Я так думаю, что мою картошку и этой осенью не оккупанты выроют. Свои люди ее съедят... И она, так сказать, с картофельного баланса Свердловска никуда не денется... Значит, я при всех обстоятельствах и в этом году буду участвовать в улучшении нашего картофельного баланса... И вам советую сотку-другую посадить. Не для воров, а для картофельного баланса.

СТЕННАЯ ГАЗЕТА ПОД ПОТОЛКОМ

Дочери Павла Петровича (Ольга, Елена и Ариадна) не могли вспомнить случая отцовской строгости.

Я как-то спросил:

— Неужели он даже не шлепнул ни одну из вас?

— Что вы, что вы! — удивлялись они в один голос.

Но это вовсе не означало, что Павел Петрович попустительствовал детям, баловал их. Они росли в режиме трудовых обязанностей, и до последних лет, уже замужние, дочери не нуждались, чтобы отец повторял свою просьбу дважды. Это был дорогой моему сердцу уклад коренной рабочей уральской семьи. Вместе с тем я не замечал, чтобы отец чем-то стеснял своих детей. Всегда в доме бывал кто-нибудь из молодежи. И за стол мы садились, что называется, «отцы и дети», как равные среди равных. И за столом всегда оказывались и слишком безусые, но имеющие право равного голоса.

Эта внутрисемейная демократия приносила много веселья, не отделяла молодых от не очень молодых, и как-то все было на виду. Вообще бажовский дом был домом открытых дверей.

В начале сороковых годов у Бажовых рос и воспитывался старший внук, Вова. Его отец тогда пропал без вести на фронте. Мать Леля (Ольга Павловна) с утра до ночи работала на военном заводе. Вова был на попечении бабушки с дедушкой и отчасти младшей дочери Ариадны (в семье: Риды, Ридочки, Ридчёнки). Вова рос упрямым, озорным мальчиком. За ним, как говорили в семье, «нужны глаза да глазки».

Однажды Вова — видимо, в экспериментальных целях — решил испробовать, как будет вести себя кошка в трубе горящего самовара. И он опустил ее туда вниз головой. Кошка с опаленными усами и обожженной мордой ошалело метнулась на шкаф и раздирающе душу «мяргала», будто жалуясь Павлу Петровичу и окружающим.

На мой характер... Парню нужно было дать памятную трепку... Но оного не произошло... Хотя этот поступок внука вывел Павла Петровича из равновесия настолько, что он прибегнул к самому страшному, что можно ожидать от него,— к молчанию.

Тут надо сказать, что Павел Петрович нежно любил животных. Собака по имени Слива, лишившись слуха, зубов, лишаясь и зрения, дожила свой век, окруженная заботой, положенной для животного, съедая свою долю из без того ограниченного рациона семьи военного времени.

Я слышал много теплых слов о Сливе. Павел Петрович, романтик по складу, разумеется, преувеличивал заслуги Сливы. Это была самая обыкновенная дворняга. Но она будто отличалась особым слухом на добрых и злых. Она будто бы даже совершала подвиги...

Смерть Сливы нашла строчку в каком-то из писем ко мне.

Опаленная кошка, видимо, тоже была из приближенных двора Павла Петровича. И это усилило виновность Вовы...

В доме Бажовых появилась «стенная газета», подвешенная у потолка. Это был лист бумаги, на котором кратко крупными буквами излагался состав преступления и называлось имя виновника.

Сначала такой сверхгуманной мере воздействия не придали значения. И в частности, Вова говорил:

— Подумаешь, дедушка газету вывесил... Кто ее читать будет...

Но вскоре оказалось, что всякий пришедший читал эту газету. Читал и подчеркнуто громко сокрушался о содеянном: «Неужто такой хороший парень до этого дошел!» И начинались рассуждения минут на двадцать. А Вовка прятался за шкафом... Ему было весьма и очень стыдно...

Вовка и я находились в давних приятельских отношениях. И меня история с кошкой, конечно, тоже настораживала... В смысле жестокости мальчика. Но моя неприязнь к этому роду когтистых и некоторая «изобретательность» Вовы заставляли осуждать его не без улыбки. Заметив это, Вова решил признаться мне откровенно и чистосердечно. Он раскаялся. Мальчик так казнил себя, что я пообещал ему день на седьмой висения газеты выступить его защитником.

При Вове я произнес перед Павлом Петровичем адвокатскую речь, хитро упакованную в педагогическую назидательность. И Павел Петрович, превозмогая себя, сказал:

— Хорошо! Я могу снять стенгазету, чтобы не позорить далее честное имя моего внука Владимира, но при условии, если вы возьмете его на поруки под расписку.

И далее следовало составление, написание и прочтение поручительского документа, который был заперт в главный ящик письменного стола, и Павел Петрович строго сказал мне:

— Смотрите! Вы ручались. Вы брали его на поруки... С вас и спрос будет...

Газета была снята и торжественно сожжена в трубе того же самовара.

А кошка с опаленной мордой долго ходила страшным упреком Вове, который с тех пор стал неузнаваемо лучше.

Он с этого дня решил разговаривать со мною на «вы».

* * *

Признавая вполне закономерным в биобиблиографических книгах хронологически последовательное течение повествования, все же предпочитаю ему свободную сюжетно-тематическую мозаику монтажа: глав, строк, цитат, писем и всего, чем я располагаю. Поэтому прошу вас задержаться еще на нескольких страницах, которые, как мне кажется, не будут скучными.

Приглашаю вас на новогодний вечер.

„ЕЛКА МИТРИЧА“

Зима 1941/42 года была холодная даже для Урала. Холодная и не то что голодная, но все же не очень сытная. Трудное было время. А елку справить хотелось. У Павла Петровича внук, и у меня две дочери. Одна еще была тогда дошкольницей. А другая тоже пока еще не вышла из елочного возраста. И последняя дочка Бажовых Ридочка не прочь была зажечь елку.

Елку решили соорудить в бажовском доме, там же и встречать Новый год. Елочных украшений оказалось не густо. Но разных типографских бумажных обрезков, картинок можно было набрать достаточно.

Сложнее оказалось сервировать новогодний стол. Семеро Бажовых, четверо нас — итого одиннадцать ртов. Взрослые уже научились есть умеренно, а как это внушишь детям? Они не знают лимита за столом. Кое-что наменяли на рынке, где неусмиримо взбесились перед праздником цены на все съестное и особенно — сопутствующее ему. Кое-что выдали в «лимитном закрытом распределителе».

Завязка торжества заключалась в доставании елки. Они были на рынке, но плата? Чуть ли не буханка хлеба...

Главными деньгами того времени были тогда три вида устойчивой «валюты»: буханка хлеба, «чекушка» водки и пачка табака. Это все у нас хотя и ограниченно, но было. А как расстаться в новогодний вечер с тем, что размерено до куска и до глотка?

Решили елку добывать по совету Валентины Александровны прямым и коротким способом — в лесу.

Лелечка, старшая дочь Бажовых, и я отправились по старой Уктусской дороге. Холодно было так, что трудно дышать. А елку вырубили. Доволокли. Втащили!

Дома у Бажовых и «ура», и рукоплескания, и визг, и поцелуи. Шквал восторгов и, как никогда зимой,— теплынь.

Бажовский дом в те годы был холодным. Воробьи поработали достаточно для того, чтобы освободить пазы бревен дома от излишней пакли. Да и время сказалось. Кое-где просели углы.

Павел Петрович ради Нового года истопил печи собственноручно, на «тысячу двести пятнадцать процентов», как он рапортовал нам, вернувшимся с елкой.

Он встречал нас в передней, приложив к несуществующему козырьку руку, и докладывал:

— Истопник Бажов спалил недельную норму березовых дров и двухнедельный запас до единого соснового полена. Как жить будем, неизвестно, а теперь снимайте валенки...

В комнатах пахло жареным. Значит, достали мяса. Валентина Александровна, счастливая, сияющая, в светлом платье (темные платья Бажов запрещал носить своей жене: «Находишься еще в черном. Надоест»). Разрумянившаяся возле русской печки, она шепнула мне:

— Добавочную сегодня выдали.

Пока елка оттаивала, ребят выгнали в детскую. А потом началось украшение. Украшали все. Кто чем мог. Даже, кажется, старые открытки повесили. Все-таки красочное пятно. А Павел Петрович, стилист и литературолюб, повесил на ниточках несколько кружочков копченой колбасы, подаренной Мариэттой Сергеевной Шагинян, и «чекушку» водки.

— Теперь в полном смысле «Елка Митрича»,— сказал он.

Я не знаю, помните ли вы старинный хрестоматийный рассказ о старике Митриче, устроившем своему внучку елку. Митрич повесил тогда на ее ветки шкалик водки и кусочки колбасы.

Нам всем хотелось веселого вечера. А когда хочется веселиться, веселье приходит даже по незначительному поводу.

Главным режиссером веселья в этот вечер была Валентина Александровна и при ней два артиста: Вова и моя младшая дочурка Ксения.

Их в течение вечера, под «идейным» руководством Павла Петровича, переодевали раз пятнадцать. Эти два очаровательных артиста выходили танцующей парой то под испанцев, то под украинцев, то под... неизвестно кого в прабабушкиных кружевных панталонах и в дедушкиных рубахах.

Павел Петрович хохотал до кашля, до слез, требуя бисировать танцевальные номера. Дети, воодушевленные успехом, теперь уже не только танцевали, но и пели невообразимое:

Мы кармены... Мы вдвоем.
Мы танцуем и поем.

Потом «двух карменов» трудно было уложить спать. Они требовали зрелища и оваций.

Павел Петрович танцевал в этот вечер «Барыню»... Будто иронически, будто для детей, будто снисходя, танцевал он все же отлично. Чувство меры, чувство тональности, иронического ключа делало танец очаровательным, не умалявшим ореола — старейшего и почтеннейшего среди остальных.

Может быть, глава об этой елке тоже ни к чему, но ведь П. Бажов был не только писателем, общественным деятелем, но и весельчаком, затейником, любящим отцом и ласковым дедом, нежным мужем и великолепным товарищем.

Не за одну же «Малахитовую шкатулку» любили мы его все. Он сам был шкатулкой, неиссякаемым волшебным ларцом, наполненным всем тем, что не чуждо живому, жизнелюбивому человеку.

Бажова я почти не помню угрюмым...

ТЕТРАДЬ ЧЕТВЕРТАЯ



КАСЛИНСКАЯ ТАБАКЕРКА

Так я назвал эту тетрадь не только потому, что это мне показалось привлекательным, но и по ее существу. В самом деле, маленькая бажовская табакерка, с которой он не расставался, заключала в себе не только табак, но и, как бы собирательно, то, что выражало отношение Павла Петровича к изумительному по тонкости художественному мастерству, которым славились восточные склоны Урала. Это — камнерезное дело, гранильное, гравировальное, тонколитейное и другие, вплоть до выплавки сталей и углежжения. Им всем были свойственны «души высокие порывы», как и сказам о них, выпестованным в солнечной душе сына рабочего класса — Бажова.

УМОЛКШАЯ МИРОВАЯ СЛАВА

Табакерка-махорочница представляла собою отлитую из тонкого, мелкозернистого чугуна коробочку с «заполуваленными» кромками и углами.

На крышке табакерки чуть больше спичечной коробки старого формата отлит известный лермонтовский сюжет обольщения Тамары Демоном. Он, привиденчески бесплотный, с крыль-

ями, на которых заметны перья, с выражением лица, характерным для аборигенов ада, как бы находится на втором, потустороннем плане. Она же отлита рельефно-земной, не лишенной некоторой соблазнительно-греховной полноты, в заманчиво тонких одеждах, предстает на первом плане крышки табакерки в таких подробностях и деталях, что только разве ковкое золото могло запечатлеть эту мини-миниатюру.

Часто эта табакерка служила поводом для рассказов о Каслинском заводе, Златоустовском заводе и подобных им. Я о них знал и раньше, но что? Да ничего. Я знал, что оба они находятся на Южном Урале, один льет чудеса из чугуна, другой делает отличные ножи и вилки.

Я видел клодтовских коней, что на Аничковом мосту в Ленинграде, отлитых в уменьшенно-настольном виде так, что у коней виден волосяной покров. И в этом не натуралистические изощрения, а изыск жанра тонкого литья. Павел Петрович расширил мои познания, и я стал знатоком, хотя и дилетантом, волшебного каслинского искусства. Бажов говорил:

— Каслинские литейщики в форму льют чугун, а он остывает серебром. И это я не для красного словца говорю.

И далее подтверждения: тяжеленькая чугунная табакерка с Тамарой и Демоном на крышке стоила в Париже дороже, чем такой же по весу серебряный портсигар. А чугунные колечки, брошки-сережки и «прочий женский убор» чуть ли не приближались к золотым. Изыск!

Говоря о заводе, Павел Петрович часто упоминал имя каслинского мастера скульптора-самоучки Василия Торокина, рассказывая о его литье, рассказывая как будто обычно, на самом же деле «репетируя», он проверял на мне сказ, который потом был назван в честь скульптуры Торокина, изображающей старуху,— «Чугунная бабушка».

Сказ начинался почти так же, как рассказывалось мне о заводе:

«Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь».

Я тогда, помню, скаламбурил:

«Вот и отличи у вас, Павел Петрович, где художественная литература, где художественное литье. Недаром три первые буквы общие». Сказ впервые был опубликован 8 февраля 1943 года в газете Карельского фронта «В бой за Родину». Казалось бы, совсем вдали от Москвы, а стал сразу же известен и перепечатываем.

Восславив сказом Каслинский завод и его мастеров, Бажов с горечью узнал, что вместо художественных изделий завод отливает... мясорубки. Я уже говорил об этом.

С одной стороны, война и как будто не до ювелирных поделок. Это верно. Верно и то, что кто-то должен отливать для тыла мясорубки. Но после того как война завершилась, оказалось множество литейных цехов, а Каслинский завод продолжал лить мясорубки.

Начались письма, ходатайства, а Каслинскому заводу не возвращали его искусство. Нашлись болельщики и защитники, кроме нас. Одним из таких был Николай Николаевич Серебреников, высоко чтимый Бажовым и вызывающий мое поклонение своей настойчивостью, терпеливостью, которым обязан его научный подвиг.

Это он, Николай Николаевич Серебреников, создал первый и пока единственный музей культовой народной деревянной скульптуры. Это он на западных склонах Урала разыскал в селениях северного Прикамья десятки резных и раскрашенных Христов, а затем и резных богородиц, Магдалин, «Миколаев-угодников» и опубликовал об этом книгу, разошедшуюся молниеносно по странам света.

Книга и собрание «пермских богов» потрясли наркома просвещения А. В. Луначарского в бытность его в Перми. Я помню, как восторгался Анатолий Васильевич и как благодарил Серебреникова. Это было в середине двадцатых годов. Теперь шло начало сороковых, и Серебреников продолжил свое ратование за народное искусство Урала.

Вот что пишет Павел Петрович об этом мне в Москву:

«Вчера — 1 апреля — слушал доклад Н. Н. Серебреникова «Искусство Урала». Вы ведь знаете, Серебреников тоже принадлежит к числу дорогих сумасшедшеньких[1]. От Вас разнится тем, что закрышка другая. Вы широкий открытый сосуд, который дает огромное количество энергии в пространство. Кого эта энергия заденет, тот может легко отмахнуться: что Пермяк с Бажовым в этом деле понимают? Писатели! Серебреников — сосуд, конденсирующий энергию. И вот вчера он почти два часа держал советскую общественность Свердловска под действием этой конденсированной энергии. Жарко всем стало.

Говорил как будто об очень далеких вещах: об иконах строгановского письма, о деревянной скульптуре, об архитектуре

[1] Имеется в виду старый анекдот о «миленьких сумасшедшеньких».

заводских сооружений и поселков, о чугунном литье Кувы, Кусы и Каслей, о гранильном и камнерезном искусстве, ни разу никого ни в чем не укорил, но всем стало стыдно...

...По литейному делу Серебреников оказался тоже очень сведущим, без узости местного патриотизма».

Далее Бажов пишет:

«Рассказав об опытах разных заводов, он пришел к выводу, что только Касли смогли дать высокие образцы литья. Причина оказалась не изученной и на сегодняшний день, но факт остается фактом. Недавняя попытка скульптора Камбарова с помощью двух каслинских литейщиков сделать отливку на Уралмаше показала, что дело не только в опыте литейщиков, но и в формовочных песках, и в качестве чугуна, и в древесноугольном способе его изготовления. Словом, темное, неизученное место.

Как видите, по поводу Вашего письма все-таки беспокоюсь. Задела капелька паров из открытого сосуда.

Разве это плохо?

Ну, будьте здоровы. Привет Марии Степановне и ребятам. Чтобы не было повода сослаться на неполученные письма, посылаю это заказным. Только Вы его как-нибудь прочитайте. Иначе вовсе обидно — мазать по бумаге ни для кого. 2 апреля 44 г.».

Это письмо не только прочиталось и перечитывалось, но и не забылось, запав в память и душу, а затем продолжилось статьей о Каслях, которую писал я, но моей рукой, кажется, водил Павел Петрович.

А было это так.

После того как не без усилий и авторитета Павла Петровича Каслинскому заводу вернули его художественное литье, писатель Юрий Хазанович привез мне из Свердловска каслинские настольные часы. Эта тяжеленная отливка 10 килограммов и 560 граммов представляла (и представляет) собой две ростовые фигуры: Данилы-мастера и Медной горы Хозяйки. Чугунное литье, может быть, и не сердило бы при взгляде на него, если б оно было сделано на каком-то другом заводе, а не на Каслинском, овеянном славой изготовления миниатюр и увенчанном первоклассным сказом Бажова. Он-то, его голос, его любовь к Каслям, его опасения, что «мясорубочный затянувшийся антракт» прервет нить преемственности мастерства, заговорили во мне. И мне показалось, что так и случилось. Когда я вспоминал Тамару и Демона, уместившихся на крышке табакерки, и смотрел на эту почти полуметровую грубоватую,

чуть ли не пудовую поделку, ненаписанное письмо Бажова разговаривало со мной:

«Что же вы так равнодушно смотрите и годами терпите это крупномасштабное отклонение от тонкой прелести дедовских ажурных сувениров на века».

Этот разговор стал невыносим, и я опубликовал в «Правде» критическую статью «Касли», которая, как я свято верю, была только, повторяю, технически написана мною, принадлежа П. П. Бажову и Н. Н. Серебреникову. Но...

Но мало что изменилось после этой статьи, и в этой главе я продолжаю напоминать о мечте родоначальника рабочего сказа в художественной литературе, незабвенного Павла Петровича, видеть Каслинский завод в ореоле нарастающей славы не только прадедовской, но и славы его мастеров-правнуков.

ГЕРБ ГОРОДА

Литература не живет порознь с жизнью, но и нашу современную жизнь тоже нельзя представить без литературы. Если Жизнь (напишем ее с большой буквы) порождает литературные произведения, то и литературные произведения, если они произведения литературные, перерождают, переустраивают жизнь, облагораживая, возвышая ее, наполняют большим дыханием времени и его передовыми идеями. Коммунист Бажов этому был верен с первой и до последней написанной им строки.

Камнерезное, гранильное, чеканное, граверное, литейное искусства не только оплодотворяли и вдохновляли Бажова как писателя, но и он, его произведения активно подымали звучание чисто уральских искусств, числящихся в прикладных, до большого изобразительного искусства. А сказы о нем тоже, к слову доведясь числившиеся полугласно (кем-то и где-то «про себя») жанром «гибриидально полуфольклорным», цвели не только мастерством написавшего их, но и трудом главного их героя, рабочего, вошли не просто в литературу, но и в литературу классическую.

Признаюсь, я был не очень благодарным и памятливым слушателем рассказываемого Павлом Петровичем. Слишком много он знал, а емкость моей памяти не по рассказчику была маловатой. Однако о Златоусте как заводе, о его мастерах и прославленной первой в России булатной стали говорилось очень часто. Так часто, что мне кажется, Златоуст был у Бажова

городом-фаворитом, в числе немногих после родных городов Сысерти и Полевского.

Златоусту посвящено Павлом Петровичем два сказа: «Коренная тайность» и «Иванко Крылатко». Первый из них о выдающемся и талантливом златоустовском металлурге П. П. Аносове, сварившем и внедрившем на Урале булатную сталь. Это сказ-гимн пытливому, творческому, научному труду. Это и сказ — опровержение рассказа «Тайна булата», написанного Е. Федоровым, где автор, идя на поводу приключенческой занимательности, приписывает своему герою скитания и посещение Дамаска, где он выведывает «рецептурную тайну» выплавки булатной стали, тогда как архив свидетельствует о приоритете Аносова.

В сказе «Иванко Крылатко» опоэтизирована крылатая душа златоустовского художника-гравера Ивана Николаевича Бушуева, мастера золотой насечки на русском оружии из булатной стали. Крылатый конек на сабле как бы стал автографом мастера, а затем гербом города Златоуста. Златоустовская сталь, скажем в той же строке, не была обойдена вниманием художественной литературы. Широкоизвестная пьеса Николая Погодина «Поэма о топоре» — это поэма о новой знаменитой нержавеющей златоустовской стали.

Какая честь заводу и городу жить в сказке! Лестно быть автором произведения, запечатленного в гербе знаменитого Златоуста, типичного города-завода, города-рабочего очаровательного Южного Урала.

СТЕНОГРАФИЯ И МАШИНКА

Коли уж мы заговорили о технике, связанной с искусством, то, может быть, справедливо заметить, что работа современного писателя не чуждается, а иногда и нуждается в технических средствах.

Позвольте не называть известные писательские имена, носители которых предпочли сыну гусиного пера — перу стальному — пишущую машинку. Одни печатали на ней, а другие диктовали на нее.

Вот бы, думал я, такие же условия Павлу Петровичу. И работа спорее, и глаза целее.

Предпочитая от слов переходить к делу, ища конструктивно-организационные способы облегчения работы Павла Петровича, я имел возможности получить в Литературном фонде суб-

сидии на оплату постоянной стенографистки. И теоретически выглядело все реально и осуществимо: Павел Петрович рассказывает, сидя у себя дома, она записывает. И никакой усталости и напряжения. Потом перечитка записи. Правка. Сокращения. Добавления, и так называемый беловой черновик рукописи готов.

Не получилось. Вот что Бажов говорит о стенографии:

«Со стенографисткой все-таки ничего не выйдет. Поверьте, это я уже испытал. Не было в моей жизни стенограммы, которую я сумел бы исправить, хотя стенографистки бывали и очень квалифицированные. Видимо, в моей устной речи нет той необходимой дозы литературной правильности, которая другим легко позволяет пользоваться стенографической записью. Получается сплошная мука. Говоришь как будто и ладно, слушают тебя, понимают, а увидишь запись, ничего не поймешь и исправить не можешь. В тех случаях, когда надо было обязательно сделать запись, переделывал ее вовсе заново, и стенограмма мне ничуть не помогала, а, скорей, мешала. Да и все равно записанное надо перечитывать, так как на слух воспринимать тоже не привык».

Когда со зрением Павла Петровича становилось хуже, я стремился хотя бы облегчить самую технику письма, зная по другим и по себе, что когда пишущая машинка становится «рефлекторным придатком рук», она оказывается куда предпочтительнее пера. И тем более предпочтительнее, когда пишущий на ней овладевает так называемым «слепым методом» печатания или хотя бы «полуслепым». Логика проста: Павлу Петровичу труднее вывести букву пером, нежели воспроизвести ее на бумаге одним ударом пальца по клавишу машинки. И строка ровная, и буква четкая, и виден размер (объем) написанного.

Павел Петрович протестовал. Высмеивал меня, называл «американствующим» кем-то.

— У Пушкина и гусиным пером получалось неплохо,— доказывал он.— Так можно до линотипа дойти. Сразу набор.

Инерция мышления, как известно,— страшнейшая из инерций. Ореол «рукописной рукописи» исключал машинописную технику. Она оскорбляла перо. Она «отпугивала своим стуком вдохновение».

— Вы только представьте Александра Сергеевича, печатающего на машинке «Я помню чудное мгновенье...» или «Не пой, красавица, при мне...». Представьте, и вы увидите, как это несуразно. Оскорбительно для рукописи, для строк без почерка.

Это оскорбляло меня. Я даже лирические личные письма писал на машинке. Клин нужно было вышибать клином.

— У гениев древности,— говорю я,— не было бумаги, но Пушкин уже не писал на папирусе и бараньей коже. Пушкин писал при масляной лампе. Заведите ее и вы вместо электрической. У нее же холодный, неживой свет. Но освещаться лучиной сказочнику еще лучше. Особенно сосновой. Мало дымит, хорошо пахнет, потрескивает и настоящий первозданный огонь, как у Данилы-мастера в «Каменном цветке».

Бажов отмалчивался. Глядел в сторону. Чадил самосадом. Он знал, что ему не хотят зла. А я наступал. Называл фамилии маститых и произведения, известные всему миру, написанные на машинке. Вспомнил и «Ремингтон» с закрытым шрифтом Толстого. И наконец, по возвращении в Москву принял все меры, чтобы Литфонд по «собственной инициативе» подарил Павлу Петровичу пишущую машинку. Тогда ее трудно было достать.

Подарил. Послал. Средневатенькую. Трофейную. С плохо перепаянным русским шрифтом. Но она полюбилась Павлу Петровичу. Аппетит пришел с едой.

Машинка понравилась. Сначала как игрушка, а затем как «механический помощник», облегчающий технику письма и не затрудняющий самое уязвимое. Глаза. Зрение. Вот что пишет мне Павел Петрович:

«...Как видите, «осваиваю» машинку...

...Печатаю, разумеется, медленно, строка у меня вихляет, знаки проскакивают, но уже для моих адресатов это лучше, так как не придется разбирать мой стариковский почерк. Для меня тоже, пожалуй, уже лучше, так как машинка позволяет печатать без напряжения зрения. Выяснился пока один существенный недостаток. Не видя пред собой написанного, часто ставишь то же слово, которое только что употребил. Если взяли бы труд подсчитать, например, сколько раз в этом письме встречается слово «довольно», то автору должно стать стыдно, но он ничего: утешается тем, что не привык еще. Облегчает, но и раздражает обилие сходных буквосочетаний (при письме этого как-то не замечаешь). В этом кажется какая-то ограниченность возможностей языка, хотя знаешь, что это не так. Во всяком случае, крайне доволен. Благодарен не только Литфонду, но и вдохновителю подарка. Тому самому, которого Вы, вероятно, изредка видите в зеркале, выходя из Ксаниной комнаты.

Кудрявый такой, но уже с поредением на макушке. Не про-

веряйте! Ничего не поделаешь. «Преходит бо образ мира сего: кудрявый плешивеет, а плешивый в прах переходит». Будем утешаться, что из праха небесно-синий лен вырастет. Насколько это весело, судить не берусь, а работе мешать может. Это мной испытано и отвергнуто, но вот, видно, не окончательно изгнано. Простите за срыв в эту сторону.
17 декабря 1944 г.».

АППЕТИТ ПРИШЕЛ С ЕДОЙ

Взаимоотношения с механической помощницей у Павла Петровича улучшались. Налаживались. Она, войдя в его рабочую комнату как принудительная профилактически-предупредительная необходимость, становится постепенно тем самым рефлекторным придатком рук, о котором я говорил. Павел Петрович еще боится признаться в добрых чувствах к своей портативной сотруднице, но уже мирится с ней. Не буду голословным и выпишу из его письма ко мне подтверждающие сказанное абзацы:

«Шрифт, каким написано Ваше последнее письмо, мне перекрыть было бы нечем, если бы не Ваша же лента. Глядите, что делает! Хоть вывеску ставь: ново! Экстравагантно! Спешите видеть! Строчка черная, запятые красные! Не будем доискиваться, отчего это: неправильно поставил, узка лента или дефект в подводящем аппарате. Факт налицо. Так его и примем. Для конвертов это немножко неудобно, а в письме даже забавно.

Шрифтик, действительно, хорош, но... есть в нем что-то от банковской щеголеватости. Знаете? Чистенько, гладенько, все размеренно, а не веселит, бухгалтерию напоминает. Никакой, можно сказать, ни лирики, ни романтики.

Ну, ведь русские на этот счет прихотливы. Не случайно наш национальный поэт обронил будто бы мимоходом многознаменательный стих: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не терплю». Шутка, скажете? Но шутка гения, а она весит больше иного исследования. Может быть, мы, воспитанные на просторах первозданной красоты нашей родины, меньше всего принимаем все прилизанное, слишком правильное. Ошибка у нас, как скала среди реки, как старая липа на пшеничном поле, легко принимается. Другие бы убрали, а мы даже любуемся: бойцы! Богатая невеста!

И никто не докажет, что это плохо. Вдуматься, так уви-

дишь за этим культ живой красоты против гримас городской европейской культуры вроде деревянных катков и бетонированных пляжей.

В отношении Ваших клавиатурных изысканий могу только склонить почтительно голову. Сам, каюсь, до сих пор не удосужился узнать, каким пальцем по какой букве принято колотить в русском и международном масштабе. А ведь, вероятно, выводы есть. Тут уж наша сожалительная особенность: любим прокладывать новые дороги рядом с существующим трактом».

Машинка стала в конце концов заменой пера Павлу Петровичу. Он уже не слышал ее стука, не задумывался о конце строки, о переводе валика, о нажиме на клавишу заглавных букв. Клавиши сами услужливо подвертывались под его пальцы. Полуслепой метод печатания осваивался сам по себе. Глаза отдыхали, и Павел Петрович стал реже жаловаться на них. Смотрите, какие веселые и чуть озорные строки выбивал его палец:

«...Думаю засесть с машинкой примерно на месяц куда-нибудь «под сень струй» и побрякать там без телефона, без посетителей. Мемуарная литература ведь довольно близка к эпистолярной. Жарь по порядку, что в голову придет. Глядишь, в день страниц десяток и набрякаешь, и читать не надо, так как уверен, что тут только корректурные ошибки, а не извращение смысла. Попробую, во всяком случае. Если окажется ладно, стану продолжать, не выйдет — тогда и суда на это не будет. Вопрос ведь не только в книге, но и в том, чтобы она вышла стоящей, а не просто сборником случайного. Здесь же у меня не очень много возможностей для литературной работы. Донимают разные дела-делишки, которые бывают на каждый день».

Машинка, без всякой иронии говоря, способствовала поднятию производительности труда литературного и, особенно, эпистолярного. Ко мне стали приходить машинописные письма объемом до четверти печатного листа и более.

Если б Бажова увлечь магнитофоном вместо машинки, который бы не заставил стесняться его, делая длительные паузы, то появился бы могущественный избавитель напряжения глаз. Но дело в том, что почти никто не принимал близко к сердцу трагедии надвигающейся слепоты, которая, слава всевышнему и в первую очередь профессору Страхову, миновала.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АВТОМОБИЛЬ

Где машинка, там логична и машина. В смысле автомобиль. Каслинская табакерка оказалась, как я вижу, до того емкой и непривередливой тетрадью, что позволяет впускать в себя самое неожиданное — от клодтовских коней до трофейного автомобиля. «Оппель-капитан» был предуготован Павлу Петровичу не без прямого участия секретаря правления Союза писателей СССР Дмитрия Алексеевича Поликарпова.

— Слушай и не сообщай об этом, кроме рынка, никому,— предупредил меня Дмитрий Алексеевич.— Твоему Павлу Петровичу занарядили трофейного «капитана», на полном ходу и не требующего ремонта. Какие будут замечания?

Улыбка всегда проступала на лице Поликарпова сквозь его сдвинутые брови, нахмуренный лоб и сквозь голос, нарочито официальный и деловой.

Я, конечно, не мог броситься на шею Дмитрию Алексеевичу. Не тот стиль общения. Не та обстановка. Не тот уровень взаимоотношений.

— Доволен?

— Очень, Дмитрий Алексеевич.

— И я! Хорошая подмога его ногам.

С этого дня я жил «оппель-капитаном» голубого цвета, в цвет глаз Павла Петровича, и писал восторженные письма на Чапаева, 11. Советуясь и советуя, консультируясь и консультируя... Перспективы автомобильных путешествий по Уралу, превращение автомобиля в спальню на колесах были так реальны.

Восторг! И голова дымится! И выезды счастливые в глазах...

Мне было еще только сорок три и пока еще все впереди, а ему уже шестьдесят седьмой... Об этом он пишет на мои мечтательные письма:

«О машине не стоит беспокоиться. Я же говорил, что это идет по другой линии. Соответствующего ранга капитан здесь уже мне предложил взять паспорт машины, но на вопрос о самой машине ответил не особенно определенно...

Вам не надо объяснять, куда может повести эта дорожка технически неграмотного да еще усиленно заботящегося в первую очередь о спокойствии.

Усилились и предложения «опытных водителей» поступить на работу. Это тоже показатель, что машина где-то близко и водители почуяли уже кусок, около которого стоит походить.

Предложения, разумеется, самые соблазнительные: «ни о чем не беспокойся». Заинтересованность понятная, но мне она никак не по пути.

Отсюда вывод — надо поступить так же, как тот слепой, о котором вы заговорили, но не кончили. Ведь как было?

Дали слепому коня, а он говорит:

— Масть не та.

— Какую,— спрашивают,— тебе надо?

— А мне,— отвечает,— больше всего та по душе, которая с надежным кучером и в крепкой телеге.

В переводе на язык современности это значит: надо передать право владения машиной на корню (от выбора) какому-нибудь большому гаражу, выговорив себе разъезды в пределах своих бензиновых лимитов. Кстати, из всех марок машин я всегда предпочитал ту, которая зовется «дежурная», что приходит по звонку и куда-то уходит потом. Такая машинка мне как раз под цвет глаз.

Мне все-таки 67-й в доходе, и брать на себя дополнительную заботу о машине и шофере мне просто не под силу. Конечно, марка «дежурная» звучит не так внушительно, как «свой оппель», но можно найти выход из положения. Называть, например, дежурную по-тарабарски «Цехумпая». Чем не марка?

Так-то, друг мой! Подумайте, коли досуг случится, «по затронутому» и вообще учитесь мыслить практически, учитывая не только «кажимость» (голубой цвет, спальные места), но и «сущность» (бесконечные заботы о бензине, покрышках и проч. и проч.)».

А машина жила в бажовской голове, куда он пускал других не всякий раз. Виделись ему «недоезженные места недосказанных легенд». И своя машина, именно своя, как «вездеходные калоши», как придача к ногам, такая же, как машинка — к рукам, многое бы прибавила к его сочинениям. Для него было очень не второстепенно: удивиться, обрадоваться, открыть.

У так называемой «дежурной» машины ограничен радиус действия, время ожиданий и то же «стеснительное неудобство», что и со стенографисткой. Ты молчишь, думаешь, а она ждет. Становится неловко. Женщина же... Начинается торопливость. Суета... А «служенье муз», как вы знаете, ее «не терпит». Что-то в этом роде говорил Павел Петрович и о поездке на машине с шофером:

— Представляете, встреча в дороге. Ну, скажем, с лесником. Разговорился. Началось интересное... А водитель нетер-

пеливо курит одну за другой... Ты понимаешь, что ему странно такое праздное препровождение времени... Ты выглядишь чуть ли не болтуном на сытое брюхо... И... Да что тут говорить...

Хотел Павел Петрович — «пионер велосипедного движения» — продолжиться в автомобильном движении. Хотел.

Неоспоримое подтверждение этому — наши позднейшие поездки по Подмосковью на моем «сереньком мышонке». У меня появился «Москвич» из самых первых, такой же, как у Павла Петровича. И шофером был я. Мне не обязательно объяснять, зачем Бажову нужно остановиться подле обедающих в поле трактористов или посмотреть, как чувствуют себя уральские жители, переселившиеся в Москву,— лиственницы. Здесь он не ограничен. И если вздумалось свернуть на проселок, ведущий неизвестно куда,— руль направо или налево, и все.

Подмосковье для Павла Петровича — малознакомая земля. Поэтому я бывал иногда и гидом. И как-то, въезжая в город по Волоколамскому шоссе, я указал на туннель:

— Павел Петрович, мы сейчас под рекой поедем, под каналом...

— Трезвый-то вы,— сказал он,— не становитесь учтивее.

— То есть?

— Ну зачем вам нужно человеку постарше вас голову морочить? Я уж не окончательная провинция... Кому же может прийти в голову пароходы, баржи и все прочее пускать над автомобильной дорогой, когда дураку грамота, что мост через канал дешевле, проще и надежнее.

В это время послышался пароходный гудок. Я свернул на обочину и заглушил мотор. Перед глазами по насыпи, которая предполагалась им железнодорожной, прошли пароходные мачты, дым парохода и кромка его трубы.

— Неужели не «брёх»? Как же это так? — очень смущенно сказал он и попросил дочь: — Сбегай на вершинку и посмотри.

Я не помню, какая из дочерей побежала — Лелечка или Рида — на «вершинку» насыпи, по которой проходил канал. Только помню отлично, что Павел Петрович удивился до бледности на лице. А потом заметил, что туннель сквозь насыпь гораздо благоразумнее, дешевле и, главное, удобнее для езды.

— А между прочим,— сказал Павел Петрович,— получился готовый рассказ. Напишете, наверно, и простачком выведете меня под другой, конечно, фамилией. Пощадите все-таки мою репутацию...

А я, как видите, не пощадил. Да и нечего тут щадить, когда

гидротехники, специалисты из «больших заграниц», говорят восхищенно и очень много о технике и сооружениях канала имени Москвы.

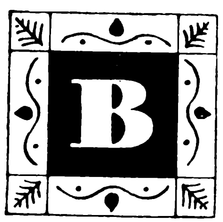
Каждый раз, когда подъезжаю к этому туннелю, всегда вспоминаю Павла Петровича. И вы, пожалуйста, вспомните его, если вам доведется по Волоколамскому шоссе въезжать в Москву, «нырнув» под канал.

Ну, а машину, как я уже говорил, Павел Петрович получил. Новенький, хороший «Москвич», которым не пришлось пользоваться так, как хотелось. Он только числился бажовским, а был «дежурным» в исполкомовском гараже.

На этом и завершим пестрейшую из всех пестрых тетрадей — «Каслинская табакерка», которую вполне можно было назвать прилагательным от слова «винегрет» или от слова «окрошка».



НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ



В центре огорода Бажовых лежала груда серого камня-плитняка. Она явно мешала и была не нужна. Но шли годы. Возле груды выросла сирень. Большая. Давала уже тень, а камень лежал и лежал.

— Люблю посидеть на этом камне, покурить, поговорить,— делился со мной Павел Петрович.— Привык. И камень стал привычен глазу.

На этих камнях в летнюю пору, в тени сирени, в относительной тишине далекого от центра города зеленого местечка, ничто не мешало рассказыванию и слушанию. Жаль только, что вечные молчальники, камни, не могут поведать не утаенных от них необычных историй, какие знал или придумывал Павел Петрович.

Чаще всего начинал он, кстати и некстати, свою разговорную живопись с присловного словца: «Ну, хорошо...»

ЖИВИНКА В ДЕЛЕ

— Ну, хорошо... Закурим для разбега,— завел как-то Павел Петрович свой разговор.— Это еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядочно прошло. Ну, все-таки после

крепости[1] было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко...

Плавный, неторопливый, совсем «не литературный», а так, как бы «промежду прочим, для препровождения времени, обычный разговор». Без затяжной экспозиции, со скорой завязкой и стремительным развитием действия и сюжета, в новой для меня лексической манере с короткими и выразительными репликами диалога прозвучала эта новинка:

— В каждом деле до точки дойду...

— На всякое,— кричит,— дерево влезу и за вершинку подержусь!..

— Придет срок — ни одно ремесло наших рук не минует...

Чем тише сказывает сказитель, чем меньше педалирует на «эстрадное звучание слов», тем выразительнее они.

Именно так и «сказывал» Павел Петрович. И только раз, один раз в городке Таборы, читая свой самый короткий сказ «Тараканье мыло», он дал своему голосу «филармоническую» резвость, и веселый сказ, в веселом исполнении, был как бы «перевеселен» и обесценен исполнением.

Чтение, особенно авторское, не любит лишнего жеста, континентального изменения голосов действующих лиц, артистического шепота, скандирования, «голосового усмешнения» и без того смешного. У литературного произведения ровная «печатная строка». Только такой, мне кажется, она должна быть в авторском чтении.

Таким было чтение (рассказывание) нового «коронного» трудового рассказа «Живинка в деле».

На меня «Живинка» произвела слепящее впечатление, и, чтобы проверить, нет ли в нем очарования бажовского голоса, я попросил дать прочитать рукопись.

— С удовольствием бы,— сказал Павел Петрович,— да я пока еще эту заготовку не переносил на бумагу. Ну да это последнее дело...

Не помню, в таких словах это было сказано или в других каких-то, но суть остается той же. Павел Петрович «писал черновики» сказов в уме. «Мысленно», про себя, «перешептывал» их, доводя до близкой к последней стадии — до бумаги. Может быть, это происходило и потому, что Павел Петрович начинал плохо видеть. А всякая переписка — это и напряжение глаз.

---

[1] Имеется в виду крепостное право.

Садясь к столу, Павел Петрович не писал, а как бы «переписывал из головы» законченный или, на худой конец, заканчиваемый сказ. Поэтому, насколько мне известно, в его архивах почти не сохранилось черновых вариантов. У «бажововеда», особенно у не знавшего лично Павла Петровича, может создаться впечатление, что он писал легко и сразу набело. Никогда он так не писал. «Живинка в деле» была напечатана одновременно в газетах «Правда» и «Труд», причем в «Труде» сказ сопровождался стихотворением Демьяна Бедного:

Колдун уральский бородатый,
Бажов, дарит нам новый сказ.
«Живинка в деле» — сказ богатый
И поучительный для нас.
В нем слово каждое лучится,
Его направленность мудра.
Найдут чему здесь поучиться
Любого дела мастера.
Важны в работе ум и чувство,
В труде двойное естество.
«Живинкой в деле» мастерство
Преображается в искусство.
И нет тогда ему границ,
И совершенству нет предела,
Не оторвать тогда от дела
Ни мастеров, ни мастериц,
Их вдохновение безмерно,
Глаза их пламенем горят.
Они работают? — Неверно,
Они — творят.

УСТНОЕ ПИСЬМО

«Живинка в деле» — главный ключевой сказ цикла ее имени, о трудовом вдохновении, у которого нет предела, нет последней ступени лестницы восхождения творца, в любой профессии, даже такой, как углежог.

Бажов взял в «Живинке» именно эту профессию, считавшуюся на доменном Урале самой «черномазой», неблагодарной и каторжной, лесной «чертознаевой» профессией. По словам самого Бажова, да и по моим детским наблюдениям, на «жигаревских кучах», где под слоями дерна, дымясь, томились по-

ленья, превращаясь в древесный уголь для доменных печей, жигарь (углежог) знавал много «тайных тайностей», чтобы выдать звонкий первосортный уголь. Держишь, бывало, в ребячьих руках черное легкое угольное полено. На нем сохранились все слои, древесный рисунок прожилок, разводов возле сучьев... Все, кроме цвета и веса. Оно громадно, почти невесомо и сухо и по-особому тонко звенит...

В этом цикле сказов наиболее типичны: «Иванко Крылатко», «Чугунная бабушка», «Хрустальный лак», некоторые другие, в том числе и «Каменный цветок». В нем тот же лейтмотив «Живинки» в ином звучании. Данило-мастер, Данило-художник ищет ее в красоте цветка из камня, в искусстве камнереза. Одновременно «Каменный цветок» принадлежит и к заглавному циклу книги «Малахитовая шкатулка».

Как бы и кто бы ни разделял сказы, все они в едином цикле утверждения высоконравственного, целомудренного и благородного. У Павла Петровича нет ни одного сказа, который бы отец не мог прочитать своей младшей дочери.

Павел Петрович писал медленно и трудно. Некоторые сказы вынашивались годами. Например, «Иванко Крылатко» — сказ затяжного рождения. Еще в кои веки Бажов говорил мне про златоустовскую булатную сталь.

Но когда выношенный и «перешептанный» сказ бывал готов для бумаги, то и здесь происходили заминки.

Павел Петрович писал обычно ночью. Когда все спят. Когда тихо. Писал, не отрывая пера, и вдруг спотычка. Потерял или не подобрал нужного слова... И кончено. Не тронется дальше.

Помню, он говорил:

— Все вчера хорошо шло, да одно слово куда-то делось. Нужное слово. Стержневое. Часов до четырех утра искал его. Светать уже стало. Плюнул и лег спать...

Я на это резонно возражаю:

— Взяли бы да и пропустили это слово. Поставили бы красным карандашом многоточие. А потом бы вставили.

— Это верно, если по-строительному делу судить. Только, я думаю, слово не кирпич. Потом найдешь не то, и все полетит, переделывать придется.

Разумеется, я не оспаривал Павла Петровича, хотя и приводил примеры иной технологии письма, а он неизменно отвечал:

— Кто как, и всякий по-своему.

Я ссылался на авторитеты мирового звучания и развивал

теорию «первого стремительного, почти безотрывочного чернового прогона произведения». Все как видится, как замышляется, со всеми огрехами, пропусками, «ненайденностями» и «гадательными», «примерными» «предположительностями». При этом способе запечатлевается самое главное — «конструкция» и, если можно так выразиться, сюжетный каркас произведения, подобный тому, какой делает скульптор для задумываемой им фигуры.

— А потом уже,— доказывал я,— можно добавлять детали, убавлять лишнее, обогащать подробностями, заниматься чисткой языка, синонимическими заменами и тому подобным. Но во всех случаях сохранять первый (первозданный) черновой вариант, не правя его, не выбрасывая из него... Желательно сохранить и второй, возможно, и третий... Скульптор этого не может сделать... Потеряв линии, изгибы— ну, словом, подробности, вылепленные в глине,— он уничтожает этим предшествующие «редакции» своего произведения. А литератор может их сохранить.

Теоретически Павел Петрович был согласен с этим методом и сам публично восхищался тем, как Л. Н. Толстой сумел изложить первую «редакцию» романа «Воскресение» на немногих четвертушках писчего листа.

Я знал, может быть, немножечко больше других, какая богатейшая сокровищница — память Павла Петровича и сколько томов заключено в ней, которым не суждено было появиться хотя бы потому, что для этого нужна если не вторая жизнь, то хотя бы еще половина жизни.

И мне хотелось воспламенить Павла Петровича на создание книги, в которой бы запечатлелось, хотя бы конспективно, пройденное, виденное, слышанное, задумываемое и отвергнутое, не нужное ему, но полезное кому-то другому, и прежде всего читателю.

Помню, в номере гостиницы «Москва» я развивал сюжет книги «Пройденное».

— Представьте, Павел Петрович, вы идете по жизни, через все годы. Начиная с Сысерти, Полевского завода, с вашего появления в Екатеринбурге и рассказывается, что встретилось вам на пути. Справа. Слева. Что вспомнилось из пройденного. Что виделось и не оказалось впереди. Встречи. Люди. Люди светлые. Люди черные. Люди так себе — «никто», но люди. Слышанные рассказы от других. Чьи-то поучительные судьбы. И получится интересный том, а то и два, которые будут широко читаться, даже если в них не окажется языкового изыска,

а просто рассказы, к которым мы прибегаем, коротая время в поезде или сидя за веселым столом в кругу друзей.

Павла Петровича это не то что сердило, но не находило в нем отзвука. Это он считал неосуществимым для него. Так же считали и некоторые другие.

С Павлом Петровичем мне довелось пройти, может быть, немногим менее ста раз от Дома печати (центр города) на его тогдашнюю окраину, до угла улиц Чапаева и Большакова, где, как я уже говорил, находился дом Бажова. Шли мы обычно медленно. Иногда останавливались. Возвращались. Присаживались на скамьи у чьих-то ворот. К этому прибавьте многие поездки по уральским городам и заводам. Сюда же приплюсуйте минимум еженедельные встречи либо у него дома, либо у нас в гостинице «Большой Урал», где наша семья прожила ни много ни мало — почти три года.

И все это время мы не сидели с закрытым ртом. Очень часто Павел Петрович рассказывал истории, каждая из которых просилась на бумагу, а затем на люди, притом хорошим тиражом.

Знай бы я, что рассказываемое никогда не пригодится Павлу Петровичу, то тогда, в те годы, мне бы следовало хотя бы «тезисно» записать услышанное, чтобы потом, спустя годы, опубликовать том под названием «Устные рассказы Бажова» или «Неопубликованный Бажов». Но как тогда могла прийти в голову эта кощунственная мысль? Я был убежден, что, рассказывая мне такое интересное, оригинальное, Павел Петрович как бы «пишет» черновики и варианты будущих произведений. Так уже бывало. И было бы как-то не очень «кругло», если б я, вернувшись домой, стал записывать услышанное. Для чего? Мне стыдно было бы после этого встретиться с зеркалом. Да и к тому же я сам был избыточно начинен своим виденным, мною пережитым, задумываемым, и мне было не до пересказов.

Между тем это была непоправимая опрометчивость с моей стороны. Но как я мог знать тогда, что рассказываемое Павлом Петровичем никогда не перейдет на бумагу. Мне и в голову не приходило, что мои записи устных рассказов могли стать достоянием широкого читателя и увековечить еще одну грань таланта Бажова. А теперь от всего этого остались только отрывки, а записать я мог цельные, законченные и стройные произведения.

Помню я, как-то зимним вечером перед мостом через Исеть Бажов заметил:

— А вот в этом доме, изволите ли видеть, швейка жила. Послужившая прототипом для Мамина-Сибиряка... Интересная особочка... Я-то ее, конечно, не знал, но другие про нее так рассказывали...

И начиналась новелла. И какая!.. Магнитофон бы — и готова радиопередача.

ЭСКАДРЕННЫЙ ФЛАГМАН БЛАГОЧИНИЯ

— А вот тут,— начал Павел Петрович,— в трех кварталах отсюда, сногсшибательный морской священник жил. Наездом. Комильфо с крестом. Денди в раздушенной пренарядной шелковой рясе. Элегантен. Манерен. Европеен. Многоязычен. Хоть по-английцки, хоть «компрене ву...» или «вифиль костет рандеву». Одним словом, «и по-японски, и по-тевтонски». Ну так ведь «корабельный, кругосветный, благочинный» с позолоченным крестом и наградным набедренником. Эскадренный иерей-флагман. Не знаю, играла ли ему вахта на дудках «Захождение» по восхождении при пожаловании на корабль или читали тропарь, именуемый: «Вход господень в Иерусалим». Чин же адекватный каперанговскому. Зампомнач по спасению утопающих морских душ. И у Леонида Сергеевича Соболева в опубликованных сочинениях не встречался персонаж, похожий на этого корабельного священнослужителя, побывавшего во всех фешенебельных кабаках знаменитых портов мира и... и в других богоугодных заведениях, где танцуют и поют в дорогих нарядах и без оных, для прохладительности. Где пьют, бьют и... и закусывают само собой... И была у этого эксперта граций всех модуляций и расцветок редкостная коллекция пошлых открыток.

За такую постыдную коллекцию миниатюр иной заокеанский любитель этого жанра не пожалел бы расплатиться долларами в семизначном исчислении. Злые языки плели версию, что и один епархиальный архиерей тоже кое-что покупал из этой коллекции по сходной цене. Штучно. Из дублей. Скуповат был владыко...

* * *

Это вкратце. Как вступление. Как интродукция к повести. В усечении сюжетных поворотов, эпизодов из частной жизни широкого, хлебосольного прожигателя жизни.

Моя память, не обладая и отдаленными свойствами ферромагнитной пленки, запечатлела лишь смыслово рассказанное Павлом Петровичем, с потерей лексического блеска, подспудного юмора и прочего, присущего богатству языка Бажова.

Стилист и мастер словесного отбора, волшебник построения фраз, он известен нам (и далеко не всем) тремя, в лучшем случае — четырьмя языками. Тем, на котором говорил он дома. Тем, на котором писал сказы (их тоже было два: ранний и поздний). Тем, который мы знаем по его публицистике. И, наконец, тем академическим языком, на котором делались научно-исторические и краеведческие доклады в ученых кругах.

Бажов был многогранно образован и начитан, но часто, почти всегда, он предупредительно деликатно перевоплощался в тот облик, какой способен видеть встречающийся с ним, загодя нарисовавший себе «бородатого колдуна» или «елейного» фольклориста. Бажов был очень вежлив и щадящ к ограниченности других. Он никогда не позволял себе выглядеть выше, образованнее своего собеседника. Это гуманнейшая черта доподлинно русского интеллигента — Антона Павловича Чехова, например, Константина Сергеевича Станиславского, например, Константина Александровича Федина...

Вернемся к корабельному батюшке...

Если вы о нем в моем бледном — говоря без всякого кокетства — пересказе прослушали всего лишь запевку повести, как я думаю, не без интереса, то вам нетрудно представить, какова была бы она, пройдя через ротационную машину, а до этого через бажовское перо и названная, допустим: «Веселая повесть о корабельном батюшке». Или в угоду жанру: «Сказ не про нас, а про эскадренного флагмана благочиния».

ПОСТАВЩИК ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Где-то под Тавдой осенью мы задержались в высоченном конопляннике. Роста в полтора конопля. Я почему-то вспомнил детство. Лóвлю чечеток и выращивание для них конопли у старой бани.

— А у меня лучше воспоминания есть,— сказал Павел Петрович.— Тоже конопляные, только с другого боку. С английского.

И Павел Петрович рассказал, как на Урале — где именно, не помню — жил купец. Фамилии его тоже не помню. И этот

купец имел обыкновение ездить на двух пароконных линейках.

Едет по городу пустая линейка. На козлах кучер. Рукава пунцовые. Жилетка касторовая. Головной убор блестит ярче черного лака. А на линейке «коронованный» конверт. А в конверте визитная, тоже с коронкой, карточка. А на визитной карточке имя, отчество, фамилия купца. А снизу помельче: «Поставщик двора Его Величества» и т. д.

Привезет кучер куда надо и кому надо визитную карточку вручит. Это значит, через час или там меньше ожидайте господина поставщика двора его величества. Особой линейкой пожалует.

Что же, спрашивается, поставлял этот купец из далекого уральского уезда соединенному королевству? И не подумаете...

— Конопляное волокно поставлял. Пеньку трех и более аршин для канатов флота его величества. Англичане точно знали, где и что растет на белом свете высшего качества. И они не куда-то, а именно на далекий Урал за лучшей коноплей бросились и прасола в поставщики его величества произвели...

* * *

Я рассказал только о самом сюжете ненаписанного рассказа «Поставщик Его Величества», но ведь было развито и действие. Действие, показывающее, как изменилось положение в обществе, а до этого и капиталы уездного прасола, выступившего на арене внешней торговли. А через него показ Урала как экспортера. Начав с частностей, в данном случае с конопли, Павел Петрович доводил рассказ (повесть, маленький роман) до обобщающего звучания Урала на мировом рынке.

Конопля становилась поводом, чтобы поразить читателя, скажем, таким фактом, как платиновая монополия Урала. В нынешних уральских районах Исовском и Висимском намывалось в те годы 94—96 процентов всей мировой добычи платины. Следовательно, остальные 4—6 процентов этой добычи падали на остальные части света планеты, в том числе и на другие губернии Российской империи.

Чем это не основание для большого рассказа, а Павел Петрович об этом не написал даже малюсенькой посказюлечки.

НЕНАПИСАННЫЙ РОМАН О ДЕМИДОВЫХ

Приведенные три-четыре сюжета из многого множества, которыми располагал Бажов, были не просто замыслами (у кого их нет!), а уже выкристаллизовавшимися «либретто» произведений.

Павел Петрович, будучи потенциально писателем большого заряда и богатейших литературно-сырьевых запасов, значительных творческих накоплений, был, как я уже говорил, человеком и большой робости, которую почему-то многие доброжелательные жизнеописатели Бажова называют непохвальным в данном случае словом — скромность.

При всех достоинствах он обладал губительной застенчивостью, которую не побывавшие в глубинном мире боязливых литературных мечтаний Павла Петровича тоже склонны называть положительной чертой его личности.

Какая же это положительная черта, если человек не решается переступить границу своего сказового жанра, самоограничивая им себя и едва ли не считая этот жанр чуть ли не единственно доступным ему! А в его письмах, в очень многих письмах, мы видим образцы большой исторической прозы, бесспорные романические фрагменты. И тем более видно их настойчивое стремление стать произведениями в его безудержной потребности, я бы сказал, художественно-прозаического рассказывания.

Я уже устаю слушать, а богатейшие недра бажовской души требуют выхода сюжетного изобилия. И, рассказывая мне, Павел Петрович как бы снижает этим высокое давление густо сконденсированного, творческого переизбытка не написанного им.

Павел Петрович любезно знакомил меня с Демидовыми, как их завсегдатай, знающий об их делах, успехах с выплавкой чугуна и трудностях с придворной шушерой-мушерой и в семейных катавасиях. Он в чем-то соглашается с ними и даже одобряет их, оставаясь на марксистско-ленинской позиции в оценке исторических событий.

Павел Петрович давным-давно, может быть с юности, носил в себе эпопею о Демидовых. Рассказать об этой династии и о сопутствующем ей — значило рассказать историю горно-металлургического Урала. А это не просто волнующе заманчиво, но и общественно необходимо. Кто только ни брался за Демидовых, включая Мамина-Сибиряка. Но никто не дал произведения, художественная правда которого сливалась бы с доподлин-

ной исторической правдой. Одни идеализировали Демидовых, другие очерняли, «огротесковывали» их. Третьи безнаказанно компилировали стандартные ужасы, перемежаемые экзотическими домыслами, приписывали Демидовым самое невероятное, сочиняли своего рода «комиксы» затяжного действия и выдавали эту мешанину за художественно-исторические произведения.

Бажов-историк, Бажов-краевед, Бажов-марксист был необыкновенно чуток. Его почти нельзя было обмануть. Какой-то особый литературный слух позволял ему улавливать и малую фальшь, и уж тем более в произведениях авторов, которые «и соврать-то квалифицированно не умеют».

* * *

«Авантюристы тоже разных сортов бывают,— говаривал Павел Петрович.— Борис Савинков —это одна статья. Керенский был уже значительно ниже рангом. Поплоше врал. Швы были заметны. Скорописный же враль, который прибегает к помощи потолка для изображения исторических событий, вовсе низкопробно котируется. В разряде гранильщика обманок из бутылочного стекла».

Павел Петрович без труда уличал историческую фальсификацию и доказательно разоблачал ее. А разоблачая, рассказывал, как это было или как могло быть, рисуя свое видение, подчас предельно живописно, о Демидовых. Главу, которая тоже еще не переходила на бумагу, но была готова к этому чуть ли не до запятой.

Признаюсь, что у меня не было, да, кажется, и нет ясного представления о Демидовых, особенно первых. Уж очень было разноречиво прочитанное мною о них. А те Демидовы, с которыми меня знакомил Павел Петрович, вписывались в понравившееся мне волнующее произведение Алексея Николаевича Толстого «Петр Первый». Да сам ненаписанный роман Бажова о сподвижнике Петра, о Демидове, как бы соседствовал с названным романом Толстого. И не просто соседствовал, а где-то в чем-то соприкасался, а то и «стыкался» с ним. И для меня это было немаловажным критерием для доверия и расположения к слушаемому.

Во всяком случае, я как бы незримо жил в демидовском Нижнем Тагиле. Ясно представлял, с чего начиналось утро старика Демидова, какие у него были взаимоотношения с мастерами доменного дела. Как себя вел Демидов на доменной

печи, которую он, конечно, знал не теоретически, а мог сам стать за горнового, как и царь Петр мог очень многое сделать своими руками. И это качество Демидовых, и Никиты и Акинфия (особенно Никиты), добавляло немаловажную краску в прорисовку его личности.

Да, он был не мягок, как и Петр. Но он, как и Петр, знал, что ему нужно. Государственно знал. И мог сам показать, как осуществить это нужное ему.

Не нужно обладать особой памятью, чтобы запомнить основное в замысле Бажова: показать Демидовых широко и глубоко, а главное — высоко. Не только как предпринимателей, желающих разбогатеть. Это можно было сделать и в Туле. Бажову хотелось раскрыть их как поборников и реальных, ощутимых, соучастников петровского преобразования России. Зачем-то ездил, к примеру, Акинфий Демидов в Англию. И вывез из Англии не «галантерейные безделушки», а минералогическую коллекцию.

Павел Петрович не без огорчения говорил, и говорил не раз, что «кто только и кто не ронял Демидовых и в молве и в литературе, и почти что никто их не подымал».

Это как бог свят. Первых Демидовых так усердно втаптывали в гнилое болото, что их может реабилитировать в литературе только очень талантливый и, может быть, только гениальный творец, не пренебрегающий, подобно Александру Сергеевичу Пушкину, не через третьи руки, а непосредственно обратиться к историческим первоисточникам и местам действия.

Разумеется, я отчетливо видел в рассказах-«главах» бажовского романа доменные печи и металлургическую технику демидовских времен, потому что те же тагильские, кушвинские домны десятых годов нашего столетия тогда еще не очень далеко ушли от демидовских. Разнились они только размером да предварительным нагревом дутья. Нижнетагильский музей, сохранившиеся рисунки и чертежи, описания де Генина нельзя как лучше помогали мне жить вместе с Павлом Петровичем в его романе, который он «полуприпрятывал» и от меня. Это и понятно...

Не только Бажов, но и другие крупные писатели, даже в минуты откровенных признаний, не рассказывали о задумываемом и вынашиваемом. Есть в этом какая-то дурная «примета».

К Демидовым без повода и по поводу, особенно бывая в Нижнем Тагиле, Павел Петрович возвращался так часто и так зримо воссоздавал значительные по протяженности рассказы-

вания фрагменты романа, его сюжетные ответвления, что мне казалось...

Мне казалось, что в какой-то из очень близких дней, оставив все, положив перед собой стопу бумаги, он примется рассказанное превращать в написанное. И особенно так мне казалось, когда он негодовал за искаженных одним из романистов Демидовых, рассказавшим о них совсем противоположное Бажову, и это негодование, думал я, заставит его не откладывать даже на день работу над романом о династии Демидовых.

Этого не произошло. Напрасно я предполагал в Павле Петровиче черты творческой неудержимости, быстроты решений, легкости общения с бумагой и способность переносить на нее то, что есть, и умение пропускать еще не найденное, не отстоявшееся, не нашедшее художественного выражения.

И я вспоминаю... Коли в сказе его останавливало ненайденное слово и вместо него он не ставил многоточия, то как Павел Петрович мог, пропуская две, три... десять глав, писать дальше!

Видимо, так писать Бажов не считал возможным.

Есть строители, которые рубят стены дома «на клетках» до возведения фундамента и потом подводят его. Есть даже и такие, что сооружают прежде крышу, вывешивают ее на временных стойках, а потом под крышей, не боясь ни дождя, ни снега, доделывают все остальное.

Я знавал драматургов и романистов, начинавших свои произведения с финала. С последнего действия. С развязки. А потом к развязке спокойно и неторопливо они «при-до-писывали» само произведение, утверждая, что так «виднее и надежнее» пишется. Я не спорю и не соглашаюсь с ними. Я только знаю, что Павел Петрович мог возводить «дом» с фундамента, и притом глубокого залегания и, по его словам, «ниже линии промерзания».

Роман о династии Демидовых не увидел света. Не увидят его и те фрагменты романа, которые мне не повторить даже в отдаленно-приблизительном пересказе. Это же не лист, не два, а много печатных листов. Но...

Но роман будет. Он живет в порах нашей отечественной истории и тем более еще далеко недоразведанной истории Урала. Он, как и его таинственные недра, ждет еще глубокого бурения и тщательного перелопачивания.

Пока мы достоверно многого не знаем, не знаем даже настоящего имени Ермака и где он родился.

Роман будет одним из лучших напоминаний о Бажове, тем более что Павел Петрович своей рукой в своем письме Алексею Александровичу Суркову, может быть и не замечая сам, так развернуто говорил о Демидовых, как будто писал творческую заявку на роман. К этому письму А. А. Суркову мы еще вернемся.

ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Может быть, время, любовь к Бажову и воображение многое преувеличили. И я обычные устные рассказы возвожу в степень романов. Может быть... Хотя внутренне с этим я никогда не соглашусь полностью.

В Павле Петровиче жил большой эрудированный романист, новеллист и сказитель. Таким он и начинался в 1924 году книгой «Уральские были». Перечитывая и переосмысливая их, я отчетливо вижу (увидите и вы, если захотите вчитаться в эту книгу) пробные, пока еще робкие, но яркие прозаические фрагменты, которые могли развернуться в значительные повести о рабочем классе, его становлении и борьбе. Но этого не произошло.

Не произошло, как я думаю, потому, что блистательные успехи сказов затмили романистику. Затмили до такой степени, что и сам их автор оказался не в силах разглядеть в этом сиянии заглушаемый огонь многожанровой художественной прозы. И «раздуть» этот огонь не помогло ничье сильное, влиятельное дыхание. Как это было со сказами Павла Петровича. И...

Отсюда вывод делайте сами и решайте, что следует сказать после этого моего «и»...

Впрочем, теперь уже поздно об этом говорить, но не поздно узнать, каким был Бажов и каким мог бы стать, и как жаль, что с ним рядом не оказалось таких, кто бы мог решительно повлиять на него, убедить, заставить поверить в себя и раскрыть его для него.

Как он мало знал себя, как не верил зову своей «живинки», живя ею в своих мечтах, в своих устных творениях, рассеянных по чужим, часто случайным, часто глухим и бесстрастным ушам!

Он был среди нас, любящих и уважающих его товарищей, творчески одинок. Потому что мы, окружавшие Павла Петровича, были в литературном отношении меньше его. Мы знаем по мемуарам о прошлом и по наблюдениям настоящего, какую

роль в творческой жизни писателя играют друзья. Как, в частности, они, не замечая того, «соавторствуют» в произведениях художника, композитора, писателя. Как много значит даже маленькое, походя сделанное замечание, увиденная в рукописи жемчужинка... Все знают, какие хорошие всходы дают такие зерна, посеянные в душу друга...

В этом особенно нуждался Павел Петрович.

На него очень много влияли те, кто не должен был влиять, утверждая его только в одном жанре. Бажов начинался как писатель-историк. Вспомните его публицистические книги с частым вкраплением чистой прозы.

Разве это вкрапление не следовало заметить большой критике и ориентировать на него Бажова. Ведь критика не только изучает, рассматривает и констатирует литературный процесс. Она и направляет его. А где и что сказано о самородной жиле романистики Бажова? Она же просматривается и в некоторых сказах. Например, «Тяжелая витушка», «Марков камень» всего лишь притворившиеся сказами ужатые повести, может быть, только для того, чтобы не оказаться вне сказовой книги «Малахитовая шкатулка». Это же правда. Это не трудно проверить. А кто написал об этом?

В сказе один регистр. Сказовый. В сказе язык того, от имени которого стилизуется сказ. Здесь много различных звучаний, но регистр один. В нем не может быть светской речи, болтовни гризетки, глаголения проповедника, фейерверка придворного фразера, тяжеловесных речений такого, как, скажем, Татищев, щебета тульской невесты Демидова и взвешенного словопроизводства его самого. Властитель же!

В сказе возможны только фразеологические оттенки в диалогах, но и те «от и до». И это «от и до» может быть не более условных словесных данных, условного запаса слов и словесного разнообразия сказителя.

А роман — это простор для языка.

Поэтому Бажов мечтал о романе как о жанре, не стесняющем его, слововеда, в щедрости раздачи людям томящихся в его золотых фондах, но пока бездействующих слов. Бажов хотел романа и побаивался его, как побаивался он в свое время сказа, осторожно подписывая, как я уже говорил, первые публикации, как записи, псевдонимом или инициально: П. Б. Для этого были, положим, основания.

ПРИГЛУШЕННОЕ ДАРОВАНИЕ

Дочь Павла Петровича Ридочка — Ариадна Павловна в своих воспоминаниях об отце пишет, как некий редактор оглушительно завернул обратно рукопись «Серебряного копытца». Ариадна Павловна не назвала его фамилии. И хорошо, что не назвала. Ему бы убийственно трудно было бы читать эту главу. Вот что пишет Ариадна Павловна:

«Редактор одного из центральных детских журналов вернул рукопись сказа «Серебряное копытце» с очень суровым отказом. Он выразил удивление, что нашелся автор, который с этим стремится войти в детскую литературу».

И далее она пишет:

«Отец очень огорчился. Терял веру в себя...»

Еще бы не огорчаться... Тем более, что до этого другой редактор сборника, в который Павел Петрович принес первые сказы, ударил по нему в таких выражениях: «Павел Петрович, при всем уважении к вам я их печатать не стану... Это фальсификация фольклора!»

Все. Точка. Дальше ехать некуда. Павел Петрович не знал тогда, что он талантлив. Об этом настоящий талант, повторяю я, всегда узнает позднее всех! Надо было годами печатно убеждать Бажова, что он писатель, в чем он так долго сомневался и что он отрицал не только в частных письмах, но и в публичных признаниях. Так скажите, пожалуйста...

Пожалуйста, скажите, как я мог тогда пересилить Бажова, испытавшего уже заторы в продвижении новой стилистики в жанре сказа, только ему свойственной. Именно такой бы и была его проза, как были такими, только ему свойственными по манере письма, сказы. И когда я твердил о романах, он отвечал примерно одинаково:

— Да будет вам, право, легковоспламеняющийся человек, видеть во всякой досужей пустяковине роман.

А другие, чистосердечно заблуждаясь, оберегая Павла Петровича и опровергая меня, злословя, настаивали на своем:

— Да слушайте вы его, без царя и с «птичкой» в голове! Вы же прирожденный самоцветный, хрустальный, яшмовый, малахитовый, изумрудный...

И «пошло-поехало»: какой угодно, только сказовый, и никакой другой. А далее попуг:

— Подняться, Павел Петрович, трудно, ой как трудно и долго, а упасть — миг.

Я отхожу. Отступаюсь. Человек же. Зачем мне быть притчей во языцех. А Павел Петрович, не замечая своего творческого переполнения, опять ко мне:

— Послушайте-ка, что я вам скажу.

И снова проза. Отличная устная проза. Ну прямо, что называется, без заезда в чернильницу, можно диктовать на линотип — и в печать.

Превосходная, самобытная проза!

Талантливый человек, опять и опять повторяю я, всегда об этом узнаёт последним, а узнав, если он очень талантлив, долго не верит этому.

Стыдно признаться, но многие, наверно и я, не оценивали в полную силу при жизни Павла Петровича его огромное недоцветшее дарование. И я теперь, трепетно выстукивая на машинке эти покаянные строки, заново перечитав все написанное, до писем, до речей, заметок, до переслушивания восстанавливаемых в слуховой памяти его устных повестей, рассказов и романов, начинаю понимать, с каким корифеем я жил рядом и как мало из всего услышанного от него могу пересказать...

И не только одиночки, но и многие из окружения Павла Петровича считали его уделом, повторяю, только сказы. Потому что если не всем, то большинству из них не были известны те «устные заготовки», которыми широко делился со мной замкнутый и застенчивый Павел Петрович. Пусть я не был для него ровней, но был благодарным слушателем, с которым можно отводить душу и, рассказывая ему устное произведение, как бы переписывать его, а переписывая, обогащать новыми сюжетными поворотами и находимыми во время этой устной «переписки» новыми деталями, которые, как мне казалось, только что пришли ему в голову.

УСТНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ЖАНР

В этой тетради я говорил всего лишь о части слышанного и полузабытого мною. А сколько рассказывалось другим, например Федору Васильевичу Гладкову, Ольге Дмитриевне Форш, Мариэтте Сергеевне Шагинян, Алексею Александровичу Суркову, Борису Степановичу Рябинину, Юрию Яковлевичу Хазановичу, Людмиле Ивановне Скорино, Михаилу Адриановичу Батину, Константину Васильевичу Боголюбову.

Замещавшему Павла Петровича по редактированию альма-

наха «Уральский современник» Виктору Александровичу Старикову есть что вспомнить и пересказать.

И уж конечно, Людмиле Константиновне Татьяничевой, знавшей Бажовых близко и давно, тем более есть чем продолжить и развить отлично начатые ею воспоминания. Должен же когда-то выйти в свет большой мемориальный том, в котором широко и полно друзья расскажут о Бажове и перескажут слышанное от него.

Если бы Павел Петрович был так же «производителен рукописно», как был щедр в раздаче людям устных произведений, нам бы в наследство остались не томики, а тома.

«Фольклористу» нужен был настоящий фольклорист без кавычек, который был бы способен методически, скрупулезно, без домыслов и украшений записать рассказываемое Павлом Петровичем и подарить обществу своеобразную, «заводскую уральскую Илиаду». Я таким быть не мог по складу характера, по недостаточной усидчивости, по неумению быть объективным записывателем, по стремлению обязательно вставить свое и творчески субъективно отредактировать даже не требующее редакции.

Но теперь, повторяю, можно только вздыхать об ушедшем и канувшем, хотя и не все еще кануло. Кое-что Павел Петрович сохранил на бумаге.

Отдельные письма, в том числе написанные ко мне, я врезал и еще врежу документальной инкрустацией в эту книгу.

Думая об устных произведениях Павла Петровича, я, да и вы, познакомившись с ними хотя бы в ухудшенном рукописном издании, вправе предполагать, что подобное современное устное творчество свойственно не одному Павлу Петровичу. Я-то знаю, что не одному. И К. Г. Паустовский, и Аркадий Гайдар, и Н. Н. Ляшко, и лица, не имевшие, так сказать, организационного отношения к литературе, владеющие отличным языком и тайнами устного литературного творчества, дарили слушателям восхитительные повествования. И особенно такое литературно-сюжетное рассказывательство было развито, да не угасло и теперь, в кругу дружеского застолья. И это не бы́ли, а, скорее, художественные «небыли». Устные литературные произведения.

С появлением радио, и особенно телевидения, я иногда ловлю себя на том, что рассказчики голубого экрана в телевизионных передачах иногда выступают успешнее, чем бывает за письменным столом. И это не всегда зависит от выступающего по телевидению. Сама техника «устной литературы» обладает

многими, подчеркну я, не преимуществами, а особенностями по сравнению с обычной, хочется говорить — письменной, литературой. Тембр голоса. Тональность. Темп, то медлительный, то стремительный. И то, что не назовешь, например особое словосочетание, рассчитанное на восприятие слухом, а не зрением, оказывается тоже особой краской устной литературы. Особого ее «почерка», который, переходя в почерк начертательный, рукописный, производит другое впечатление, и чаще всего худшее.

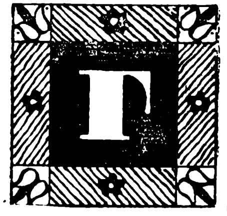
И Павел Петрович, повторяю я, свидетельствует об этом: «Когда говоришь, получается хорошо, и слушают тебя не без удовольствия; когда это же прочтешь застенографированным — получается совсем другое».

И кто знает, может быть, литературный дар устного «начертания» художественно-прозаических произведений у Павла Петровича не уступал огромному дарованию читаемого писателя.



ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

„БАЖОДОМКА“, ПОХЛЕБКА И МЫ...



оворят: в трудовых буднях человек познается, а на праздничном пиру раскрывается.

В трудовых буднях мы более или менее познакомились с Бажовым. Теперь посмотрим его в пиру, в миру, и самый пир, и людской мир, по которым тоже можно судить о репутации, общественном весе, отношении окружающих к Павлу Петровичу, которому исполнилось шестьдесят пять лет.

Шестьдесят пять лет явно не «круглая дата». Но желание окружающих и друзей Бажова отметить этот день было так велико, что празднование его шестидесятипятилетия возникло почти стихийно. К тому же еще были некоторые привходящие обстоятельства. Павел Петрович прихварывал. Врачи говорили разное... А до круглой даты оставалось пять лет.

К счастью, наши опасения оказались напрасными, но мы не раскаиваемся в организации и этого, так сказать, «промежуточного юбилея». Не раскаиваемся тем более, что на его примере видно, какую широкую литературную популярность завоевал Павел Петрович и каким вниманием окружали его читатели. И сам юбилей стал литературным праздником.

Подготовка юбилея началась «тайно», сюрпризно. Хотелось больше неожиданностей.

Меня, по небезызвестным причинам, выдвигали в председатели юбилейной комиссии, но я предпочел высокому почету «тихую деловитость» и попросил назначить меня руководителем подкомиссии по подаркам и организации чествования и тем самым учредить эту «подарочную комиссию», которая не предполагалось, да и не бывали они в организационной практике юбилеев вообще.

Назначение «главой» вышеозначенной подкомиссии мне развязало руки, и я принялся дорабатывать задуманный «сценарий» торжества и подношений, а затем и осуществлять его. И осуществлять, как вы увидите ниже, не окончательно бездарно.

Мне было известно, как живет прославленный юбиляр, в чем у него нужда, начиная с хлеба насущного и кончая жилищем, в котором ему приходилось писать в овчинной шубе. Холодно. Дом стар. Стар и его хозяин. Ему жизненно необходимы вдосталь не только дрова, но и молочные продукты, ибо у него желудочные и всякие прочие недомогания. Наконец, он должен быть одет. Нельзя же и в будни и в праздник в одной и той же синей суконной блузе. А домашняя утварь? Мебель? Отопление дома... И я поставил себе задачу решить все это разом, на законном подарочном основании.

Празднество началось осуществляться загодя.

Тайно от Павла Петровича печаталась большая, чуть ли не в дверь величиной, афиша о вечере, посвященном его творчеству, устраиваемом в зале Свердловской филармонии. Тайно художник Геннадий Ляхин рисовал «малахитовый» пригласительный билет. Его тогда чуть ли не в ночные часы, сверхурочно и безвозмездно рабочие печатали в свердловской хромолитографии.

Впервые свердловская писательская организация заседала втайне от своего руководителя.

Готовили сюрпризы.

Мне с уральским поэтом Константином Мурзиди был поручен выпуск второго номера стенной домашней газеты «БАЖОДОМКА». И мы всю ночь, накануне дня рождения Павла Петровича, провели в 153-м номере гостиницы «Большой Урал», где я тогда жил. Поэт Константин Мурзиди привел туда с собой уралмашевского инженера, умеющего рисовать. Газета была закончена примерно к утру. В ней уже красовались веселые заметки, шаржи, каламбурные заглавия. Например — «От соседского информбюро», где, в манере военных сводок, сообщалось о самом юбилее и «чрезвычайных» происшествиях, свя-

занных с ним. Газету «Уральский рабочий» в те военные годы редактировал Лев Степанович Шаумян — наш общий друг. В связи с этим мы лихо озаглавили одно из приветствий так: «От собратьев всех армян, Шаумян и Шагинян».

В такой газете было дозволено все. Костя Мурзиди написал стихи:

Хорошо вам, ублаженным
По рукам и по ногам.
Хорошо вам, Пе. Бажовым,
Каково нам, «пермякам».

Далее следовала статья-очерк «Утро юбиляра» и многое другое, чего, может быть, сейчас, многие годы спустя, мы бы и не написали.

Наскоро соснув, мы встали в шесть утра. От гостиницы до Бажова ходу минут двадцать пять. На нашей обязанности было доставить коробец яблок, которые мы «выбили» путем героических усилий. Так же была добыта дюжина шампанского. Шампанское было роздано товарищам по писательской организации, которые должны были появляться в квартире Бажова по расписанию маленькими группами через каждые пять минут, начиная с семи утра.

А яблоки взяли мы. Мало ли... Всякое с ними может случиться, если раздать их по кульку. Подморозят. Помнут. А мы их везли на саночках, укутанными в теплое одеяло. Мороз же! Конец января — самая злая уральская стужа, а Мурзиди вырядился чуть ли не в «бальные» ботиночки.

Бежали бегом.

Когда мы пришли на улицу Чапаева, в знакомом домике было уже светло. Все проснулись. Нервный стук. На пороге — юбиляр, с хорошо расчесанной бородой и смеющийся, как солнышко после зимнего солнцеворота в ясный день.

Поцелуи. Объятия. Восклицания. Само собой, десяток капель взаимных слез умиления. И — в столовую... Есть хочется — волка бы проглотил вместе с шерстью.

Стол накрыт для семьи. Один прибор лишний. Мой. Сбочку, подле Павла Петровича. Костя Мурзиди оказался внеплановым, «внеприборным гостем». А хлеба в обрез. Война же! Карточки! Валентина Александровна быстренько «перефуражировала» стол. Всем все нашлось. И похлебки хватило, и хлеба достало.

Костя Мурзиди сиял. Он знал почти всю программу этого

дня. И ему было весело от предстоящих сюрпризов, от неполных, экономно налитых тарелок с похлебкой.

«Бажодомка» красуется на стене. И от похлебки оторваться не хочется, и читать надо.

Стенгазета тоже «блюдо» не из простых. Юмористическая «пища». А смеяться хотелось.

Газета, по общему суждению семьи, была признана отличной. Правда, читающий ее сейчас, может быть, найдет «перлы остроумия» средненькими. Но мы были тогда еще молоды.

МЫ ПИРУЕМ ПИР ВЕСЕЛЫЙ...

Утро в этот день было стремительным, как остросюжетный фильм...

Бьет семь. Точно, как на корабле,— звонок. Первыми, кажется, пришли Леночка Хоринская и Нина Попова. (Мы называли друг друга домашними именами: Витя, Митя, Оля, Костя... Даже в «большом союзе» Александра Александровича Фадеева многие называли Сашей, Алешей — Суркова, Костей — Симонова... Только никто и никогда не называл Пашей, Павликом или даже Павлом Павла Петровича Бажова. Он всегда был Павлом Петровичем и звучал без добавления фамилии.)

Вернемся, однако, в тесную и узкую, как пенал, переднюю дома Бажовых.

Дверь открыта. Женские голоса. Шум. Первая бутылка шампанского. Похлебки уже на двух новых гостей нет. Мы с Костей постарались и скорехонько «уписали» налитое в наши тарелки, а там видно будет.

Пять минут невелики. Пока церемонная Нина Попова произносила слова приветствия и пожелания — раздался новый звонок. Появился Юра Хазанович и кто-то еще. Второй. Вторая бутылка шампанского.

Приветствия, пожелания. Валентина Александровна волнуется. Опять звонок. Пришел Андрей Ладейщиков. Третья бутылка искристого вина.

Звонки пошли чаще. Появилась Ольга Маркова. Румяная, жизнерадостная, окающая даже там, где можно окнуть только при большом изощрении и любви к этой букве, например в слове «шампанское». А его в передней у порога постепенно накапливалась «дюжина». Ни одна бутылка не оказалась «разбитой», конечно, нечаянно. Потом что-то случилось. То ли гости

выбились из расписания, то ли боялись опоздать — пошли гуще. Появился Ефим Ружанский, повеселевший еще вчера от одних перспектив этого дня. Вошел громадный Илья Садофьев. Об этом ленинградском поэте «первого призыва» в годы революции Павел Петрович написал хорошую рецензию. Этого Садофьев не знал и до сего дня. Про Садофьева в «Бажодомке» было написано так:

Гроза уральских соловьёв
Илья Иваныч
Садофьёв,—

чему он был страшно рад и, следуя написанному в газете, сразу же, в честь юбиляра, выдал рифменную трель строк на сорок.

И вот собрались все. Одни отвлекают Бажова, другие хозяйничают в его рабочей комнате.

Раздвинут большой стол. На стол вместо скатерти постлана афиша о вечере в филармонии, которая на улицах города появилась ночью, когда все спали. Тоже сюрприз. На афишу ставится новое оцинкованное стиральное корыто. В корыте скрипучий январский снег. В снегу традиционная дюжина шампанского. Рядом — коробец яблок.

«Мы были молоды тогда... Мы были молоды тогда...»

Писатели-дамы вводят Павла Петровича под руки. Писатели-кавалеры усаживают его за торцовую часть стола. Валентина Александровна притихла. Немножечко оробела. В первый раз в жизни оказалось, что в ее доме командует столь шумная компания гостей.

Знак подан. Первые пробки полетели в потолок. Выстрелы. Визг. Пена. Афиша залита. Из снега делают снежки.

Павел Петрович смеется... Радуется... Подливает масла в огонь. Будто ему не шестьдесят пять, а хотя бы... сорок. Здравицы в стихах. Здравицы в прозе. Здравицы хоровой песней... Садофьев по-протодьяконски провозглашает «многая лета».

Внук Павла Петровича, Вовка, забился в дальний угол. И находиться ему здесь страшновато и уйти — пропустить такое зрелище — тоже боязно.

А веселье нарастает. Великолепная песенница Ольга Ивановна Маркова завела протяжную, с переливом. Мужские голоса подостлали басом, баритоном... «Летят утки... и два гуся»...

Ах!.. «Мы были молоды тогда... Мы были молоды тогда...»

Молод был и милый Павел Петрович в свои шестьдесят пять. Он тоже подпевал и по-гусарски лихо опрокидывал бокал с игристым, золотистым, пенистым, шипящим вином...

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На улице еще еле светает, а тут уже пир горой. «Гора», положим, оказалась не так «крута», на такую компанию «дюжина», как стаду коней горсть овса.

Хозяева забеспокоились. Угощать-то ведь надо, а... время было трудное. Но опасения оказались напрасными. Все шло по сценарному плану.

Зазвенел один длинный, два коротких. Это звонил начальник Уралмашстроя Федор Иванович Исаев. Открывал двери я. Настежь обе половинки. Одну было нельзя, потому что два знатных строителя при орденах несли носилки. На носилках стояла внушительных размеров фанерная модель жилого дома.

Модель дома с носилок с трудом переставили на стол. За столом молчание. Зрелище же!!! «Драматургия»! Что будет дальше?

Дальше строители поздравляют Павла Петровича. Вручают адрес. Благодарят его за книги и за выступления перед рабочими-строителями и открывают, как крышку, крышу домика... А в домике...

В домике гастрономический ларек в сокращенном виде... Теперь уже можно было убрать корыто, афишу и начать пересервировку стола как полагается в таких случаях.

И вот появилась белая хрустящая скатерть. Девять часов. Начался чинный прием поздравителей. Почтальон, приносивший телеграммы, был уже трижды. Он тоже чуточку «напоздравлялся». Сейчас он пришел в четвертый раз. Ему наливают «заказную» с доставкой в собственные руки.

Телеграммы зачитывались громко. Они прибывали из самых далеких и подчас малознакомых мест. Это страшно волновало Павла Петровича. Много телеграмм пришло с фронтов Великой Отечественной войны.

РЕКОРДНЫЙ ТОРТ

Веселье приняло чинный характер. При незнакомых людях «братьям писателям» пришлось держать себя посолиднее. Как-никак — встреча с читателями.

Но чопорность недолго сопутствовала нам всем. Виной этому был торт. Его внесли тоже на носилках. Таков был его вес. Торт представлял из себя две большие книги, положенные наискось одна на другую. Первая была бисквитная с шоколадным заголовком «Ключ-камень», вторая — с вафельно-кремовыми страницами и мармеладным зеленоватым заглавием: «Малахитовая шкатулка». Издателем значился коллектив рабочих кондитерского предприятия.

Наш бухгалтер Георгий Иванович Бычков по-своему выразил отношение аппарата союза к составляющим его писателям.

— Пал Птрович,— сглатывал бух гласные, а по пути и согласные.— Давай сымемся на карточку у торта.

И снялись. Гигантские две бисквитно-кремо-вафельные книги, перед ними смущающийся, но не желающий обидеть Георгия Ивановича Бажов и рядом с ним торжествующий бухгалтер, как будто юбиляр он.

Сохранилась ли «историческая» фотография с тортом, которым я озаглавил эту главу, не знаю.

После бухгалтера возле торта вызвались фотографироваться и другие. Как заразителен пример! Я хотя уже... хорошо закусил, но устоял и не пожелал запечатлеться у торта. А торт все-таки был уникальным и по величине, и по вкусу. Едва ли в старые времена такие случались и в самом Замоскворечье. Ели его в несколько приемов. Павел Петрович сказал про торт:

— Такую махину могли выпечь только на Урале. Бродит, видно, еще в нашем городе тень Харитоновых, тень Приваловых...

Читавшие эту тетрадь в рукописи из самых доброжелательных побуждений заметили мне о необходимости некоторого смягчения широты и размаха юбилейного веселья. И я кое-что сделал в этом направлении, принимая во внимание военное время. Однако это уже был предпобедный год войны, когда мы преодолевали многие трудности, в том числе продовольственные. Идя на уступки, я все же не мог исключить многое из наиболее памятного и общеизвестного, каким бы неожиданным оно ни выглядело.

Поэтому, рассказывая о дальнейшем, я привожу события этого дня в хроникально-документальной точности, которую в случае надобности подтвердят участники этого торжества, да еще пополнят упущенными мною эффектными подробностями.

Да, это был военный год, но уже третий год войны (1944), когда многое предрешилось на фронте и значительно облегчилось в тылу.

В части тактической замечу: это был день открытых дверей. Праздник не только писателя Бажова, но и праздник литературы. Литературы и тыловой и фронтовой. «Все флаги в гости» были там. Все ордена, и трудовые и боевые. Да и трудовые-то ордена тоже тогда были военными.

Однако довольно оговорок. Возвращаемся на пир. На литературное празднество. Там нас ожидают новые сюрпризы...

СЮРПРИЗ ЗА СЮРПРИЗОМ

Утро, начавшись нарастающе весело, переходило в день, как фантастический спектакль, в котором каждая последующая картина неожиданнее предыдущей.

Одни группы гостей сменялись другими. Приходили делегации от воинских частей, от заводов, рудников, районных городов. Стол не умещал подарков. И в каждом из этих подарков было свое. Это не просто вещицы-сувениры. Над ними думали. Их делали рабочие своими руками.

Например, один из заводов или цехов, где вырабатывали огнеупоры, подарил серию кружечек из белой глины, и на каждой из них было написано название бажовского сказа: «Серебряное копытце», «Таюткино зеркальце», «Дальнее глядельце», «Ермаковы лебеди», «Каменный цветок». И гости пили — кто из «копытца», кто из «цветка», кто из «синюшкина колодца», кто из «богатыревой рукавицы»...

Тогда не было любительских узкопленочных киноаппаратов. Не было и любительских магнитофонов. И это все такое необыкновенное, задушевное кануло куда-то и растворилось. Много ли можно удержать в памяти, но все же хочется как можно больше выжать из нее.

Неожиданно для всех и для меня с платинового рудника была доставлена мука и мясо. Не пасти же это все впрок. Да и как упасти, когда поздравительскую очередь уже регулирует милиционер, и на кухне готовятся уральские «скороварки», «скородумки» и просто мясо куском.

Павел Петрович устал пожимать руки, чокаться и отвечать на здравицы.

— Отдохнуть бы ему,— шепчет мне Валентина Александровна.

— Да вы что,— взвинчиваюсь я,— поздравления еще только начинаются... Главные поздравители и громоздкие подарки еще впереди...

Звонит телефон. Зовут меня:

— Можно?

— Пора. В самый раз! — отвечаю я.— Ведите...

— С кем вы?

— Кого вести?

— Кто звонил?

Я молчу или, смеясь, вру.

Все таинственно и сюрпризно!

Лицо Бажова для меня всегда было очень красивым. Заглазно я его называл даже красавцем. Может быть, это привычка к его чертам, а может быть, преувеличение воображения. Но в этот памятный день Павел Петрович был, как никогда, прекрасен. Он будто даже светился изнутри. Павел Петрович жил, как дитя на новогодней елке. Появлялось и то, что невозможно предположить.

Была уже делегация из строительной конторы и пообещала подарочно, безвозмездно оштукатурить и проконопатить стены дома. Были и сантехники от крупного энского завода, обязавшиеся подвести в дом Павла Петровича линию водопровода и заменить печное отопление центральным водяным с котелком на кухне. Были и мебельщики-краснодеревщики. Были самые неожиданные люди, но не эти, что пришли...

В передней шум, крики, истошный поросячий визг.

— Павел Петрович! — рапортует вошедший.— Отдел рабочего снабжения Уралмаша глядит в корень вопроса. С мясом теперь повеселело, и мы решили подарить вам подсвинка. Вот...

И перед нами — подсвинок пуда на полтора.

Павел Петрович бледный. Он не знает, что делать. То ли благодарить, то ли отказываться. Подсвинок гомерически верещит. Гости лежмя лежат в удушье от смеха. Валентина Александровна тоже, мягко говоря, в растерянности: «Куда нам свинью деть?..»

Но свинья свиньей, она была сердечно «подложена» любимому писателю очень кстати, тем более что медики в один голос говорили: «Питаться, и усиленно питаться»... Вот она и

питала его, да еще нашему брату, завсегдатаям бажовского дома, кое-какие отбивные перепали.

Аналогичную заботу проявили и притагильские колхозники... Но не будем забегать вперед.

КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ ПОДАРОК

Кто-то из сидящих за столом, кажется Юрий Хазанович, подкинул такую предусмотренную реплику:

— Подсвинок-то еще ничего. Можно пережить... Оборудуем ему закуток, и все... А вот если корову в подарок приведут, тогда, Павел Петрович, серьезная паника начнется...

Все как на премьере головокружительного представления. Хазанович неторопливо продолжает разговор о корове, и всем кажется, что Юрий Яковлевич всего лишь смешит, делая невероятные предположения, он импровизирует интермедию между завершившейся картиной, в которой действовал подсвинок, и той, которая должна начаться,— и она началась.

Появляется поэтесса Бела Дижур, с ней редактор газеты «Тагильский рабочий» Анатолий Суворов. Поздравив наскоро Павла Петровича, они сообщают:

— Колхозники вас там на улице тоже поздравить хотят...

Павел Петрович на это резонно говорит:

— Просите, пожалуйста, их сюда...

А те на это:

— Подарок у них велик... Не повернется в передней, да и по ступенькам не приучен ходить...

Тут была отдернута, как занавес, оконная занавеска, и за окном мы увидели группу нарядно одетых колхозников и огромную черно-пеструю корову.

— Это как понимать? — спросил Бажов.

— А что тут понимать, Павел Петрович,— сказала колхозница.— Молоко вам доктора прописали свежее, сметану густую, творог тепленький... Вот мы и решили по этому рецепту вам молочную корову Зонну преподнести. Тагильской породы красавица... Книжку про эту породу можно написать...

Бажов был уже не бледный, а белый. Как борода.

— Чем же я ее кормить буду, товарищи? Когда, посудите сами, такое время...

— Павел Петрович,— перебила его Бела Дижур,— Нижний Тагил и о сене позаботился...

Расчистили снег у занесенных ворот. Корову ввели в поме-

щение сарая, некогда служившее коровником. Зонну тут же подоили. И братья писатели пили теперь первое молоко от подаренной коровы из «копытцев», «ложков», «глядельцев», «живинок», «витушек», «огневых поскакушек»... Я пил из «Ермаковых лебедей», которыми жил все это время.

Можно было и умолчать об этом необычном подарке, но как-то жаль не рассказать об уральской широте.

Что было, то было...

И было от большой, глубинной любви.

Но вернемся к теме дня. Дня, который закончился большим концертом-чествованием. Он тоже был необычен.

НЕПОВТОРИМЫЙ КОНЦЕРТ

На сцене в филармонии не было никакого стола для президиума. Сцена представляла собою нечто вроде гостиной, куда собрались друзья и знакомые Павла Петровича поздравить его в кругу семьи. И всякий появившийся гость, поздравляя Павла Петровича, являлся как бы «концертным номером программы».

Программа не была заранее объявлена. Она также состояла из сюрпризов. Это были дорогие сердцу хоровые песни уральских женщин. Пионерские групповые приветствия под бой барабанов. Исполнение любимых романсов Бажова. Любимой музыки.

Музыку и пение Бажов любил необыкновенно, хотя на людях и не признавался в этом. Ценил высокую музыку, любил Чайковского, трогала Павла Петровича и песня. Например, он был до слез влюблен в слова и музыку песни «Одинокая гармонь». Когда она передавалась по радио, он всегда прибавлял звук и оставлял работу.

На концерте не обошлось и без «скоморошьих дел». Вдруг на сцене оказались два Бажова. И когда один Бажов, поздравляя другого Бажова, закружил его, не сразу можно было разобраться, кто из Бажовых Бажов, кто артист.

К сожалению, я не помню фамилии артиста, нарядившегося и загримировавшегося Павлом Петровичем. Но это был коронный номер концерта, и особенно когда Бажов-артист поздравлял Бажова-писателя в бажовских речениях и монтаже цитат из его сказов.

Опять оговорюсь, может быть, не стоило так длинно писать об этом юбилейном дне, который, по сути дела, был лишь од-

ним мигом в большой жизни Павла Петровича. Но мне хочется все же оправдать пространность этого описания тем, что в день юбилея мы увидели, какой исключительной бывает читательская, народная любовь к писателю. Едва ли вышла в Свердловской области в этот день какая-нибудь газета, где бы не упоминались заслуги Павла Петровича как литератора и как общественного деятеля.

Это был праздник не только литературный, но и предпобедный. Мутный, коричневый вал фашистского нашествия, захлебнувшись и обессилев, откатывался на запад... Исход войны был предрешен, и каждого переполняла радость справедливого и святого разгрома... Может быть, избытки этой радости тоже привнесли свою ликующую краску, и, может быть, самый юбилей Бажова был в том числе и удобным поводом для клокочущего в наших душах торжества. Может быть...

Торжества продолжились и на второй и на третий день. Приезжали из других городов. Заходили просто так — пожать лично руку Павлу Петровичу. Я уже собирался отбыть в Москву, и, кажется, были заказаны билеты, но телефонный звонок после полуночи изменил всё, и юбилейное празднество продолжилось.

Взволнованный голос Павла Петровича сообщил мне о награждении его самым высоким орденом СССР — орденом Ленина. Я, не раздумывая, тут же побежал поздравлять награжденного.

В бажовском доме все на ногах. В окнах большой свет. Из редакции газеты «Уральский рабочий» доставлена корректурная полоса завтрашнего номера. В ней Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении за выдающиеся заслуги по собиранию рабочего фольклора.

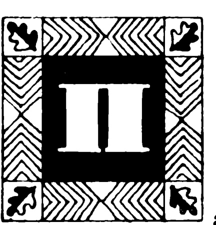
Счастье через край... Радость невозможно измерить, как и невозможно найти слова, которые бы в полную силу накала передали происходившее в эту ночь, стремительно переходившую в утро прекраснейшего из дней подвижнической жизни писателя Павла Петровича Бажова.

ТЕТРАДЬ СЕДЬМАЯ



ИЗ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДСТВА

ПИСЬМА КО ВСЕМ



авел Петрович не вел дневников, если не считать записей, названных «Отслоение дней», составляющих примерно сорок книжных страниц, которые писались с 16 апреля 1943 года по 5 сентября 1946 года. Эти записи — не самое лучшее из написанного Бажовым.

Зато письма Бажова составляют очень большой раздел его творчества. Именно творчества. Для него они, может быть, и не были произведениями (очерками, рассказами, критическими статьями, писательскими размышлениями и т. д.), но всякий прочитавший хотя бы несколько его писем неизбежно увидит, что это далеко не частная переписка: «здравствуй-прощай, как твои дела, я живу так-то и так-то». Это литература, если даже он пишет об огороде или о чем-то весьма специальном, частном, узком. И на это у него свой взгляд, свои концепции и суждения.

Писем Павел Петрович написал великое множество. Если их только у меня сохранилось до двухсот страниц, то надо думать, сколько их вообще. В общем итоге.

До того как Павел Петрович не освоил пишущей машинки, он не оставлял копий писем. Поэтому, как говорят музейные работники, неучтенного больше, чем наличествующего в рукописном фонде.

Читая и перечитывая бажовские письма, я убеждался в том, что Павел Петрович всего лишь адресовал кому-то свои письма, а писал их для всех. И, в частности, я был всего лишь своеобразным «пунктом» переадресовки написанного мне. В этом не трудно убедиться. Вступительные строки обращения в письмах и заключительные пожелательные — как бы только обязательные рамки для письма-рассказа, письма-статьи, письма-очерка. В этом вы убедитесь на последующих страницах, где я привожу письма в «рамках» и без них. Привожу письма полностью и в сокращенном виде, чтобы не касаться и ненароком не обидеть кого-то из названных в них. Письма я привожу мозаично, без соблюдения хронологии, а иногда и не называя дат.

Читайте, пожалуйста.

О ЛИТЕРАТУРНОМ ТРУДЕ

«Писать теперь в манере «Аси» или «Первой любви», конечно, было бы дико. Цвет времени не тот. Но ведь и Тургенев тоже не писал своих вещей в манере своих предшественников. В этом, на мой взгляд, и вопроса нет. То, что у новеллистов библейских времен рассказывалось, как «хождение Иакова», то в средние века передавалось, как «Дафнис и Хлоя», у Тургенева как «Первая любовь», а вот как у нас этот же мотив? Наше горе как раз в том, что мы не можем вырваться из плена старых заголовков, противопоставить им что-нибудь более выразительное и «созвучное». «Большой конвейер», «Скважина бис-2», «Штурм», «Разбег», «Наступление» кажутся примитивными, грубыми, а для «Первой любви» и «Гранатового браслета» время прошло. И не стоит на них оглядываться с этаким вздохом: «А напиши теперь так». Надо, наоборот, выпрыгнуть из плена прошлого, не попав, однако, в «Скважину бис-2». Кир...ая бутара[1] малых тиражей и многочисленных названий, мне кажется, останется без работы, т. к. пока не хватает материала даже для тех изданий, какие имеются. Все-таки ведь и бутара должна не просто всю землю пропускать, а лишь те ее породы, где можно ждать ценного. Прежде чем поставить бутару, как известно, надо подыскивать пласты — старые или новые, это безразлично,— ради которых стоило бы

[1] Разговор идет о предложении одного писателя увеличить количество издаваемых книг за счет сокращения тиражей.

этим заняться. Охотников искать «стоящие пласты» у нас крайне мало. Как работающему рядом с историей, мне это особенно видно. Перелопачивают, что полегче, а копнуть заново боятся и не хотят, и получается не лучше того, что мне как-то предлагал покойный профессор Н. Н. У него была диссертация на тему «История Оренбургской епархии», вот он и говорит: «Давайте напишем теперь о Пугачевском бунте. Материалу у меня много, а вы марксистского соусу прибавьте и там всяких пейзажей». Так ведь Н. Н. был старик и профессор богословия. С него не взыщешь. А когда такое же почти видишь в историческом романе, то становится не по себе. Да еще хотят «всего достичь», не утруждая ни глаз, ни зада,— за счет «голого таланта», а не выходит. И никогда не выйдет без большого участия глаз и сидения даже при самой большой одаренности. У стариков надо учиться именно этому непривычному для нас искусству. Разве наш национальный гений А. С. Пушкин не поразителен и своей трудоспособностью? Работая над историей пугачевщины, он не только месяцами сидит в архиве, но он едет на Урал. Это ведь не на самолете и даже не в вагоне, а на перекладных. Попробуйте представить, что кто-нибудь из наших современников проделал адекватный труд! Да он бы написал несколько томов своих дорожных впечатлений, десятка два рассказов, четыре пьесы, пять сценариев, один малоформистский сборник, а у Пушкина все это вошло частично в «Капитанскую дочку» да в отдельные строки стихов. Вот и выходит густо. Читаем современников и говорим: «А у предшественников лучше». Да, потому что у предшественников больше предшествовало, чем у нас. Словом, был и остаюсь сторонником труда в литературе. Стоя на этой позиции, утверждаю, что каждый через какой-нибудь десяток лет работы может дать изумительное по своей неожиданности полотно, скажем, о Демидовых. Наиболее одаренный и быстрей сделает это, может быть за пять лет. Но тот, кто захотел бы еще ускорить это, неизбежно должен просто ворошить тени прошлого или даже дойти до скважины-бис без кавычек. Вы спрашиваете: «А чем в это время жить?» — Это разговор другой. Питательно-журналистская работа, вероятно, неизбежна, но она должна быть откровенно-публицистической: «Колхоз «Заря», «Пчеловод Морозов», «Сталевар Миронов», «Фрезеровщик Босый». Не месть, не гнев, не расплата, а именно — фрезеровщик, даже не «Орс горы Высокой», а «Высокогорской орс» и т. д. И все это ни под каким видом не должно называться повестями, рассказами или другими именами художественной литера-

туры. Литература начинается с котлована ниже линии промерзания и очень честной выкладки фундамента. При таком положении никто, конечно, не станет строить карточный домик, а возведет здание большое или маленькое, а не на квартал, до первой рецензии.

...Ну, ладно, хватит пустоговорья. Не пятую же страницу начинать. Наверное, уж давно не выдержали? Значит, будьте здоровы, думайте о первой любви в противоположную сторону и передайте привет от меня и всех наших Марии Степановне и ребятам.

П. Бажов.

27.10-45 г.».

* * *

Вот что о литературном труде Павел Петрович пишет в другом письме ко мне:

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

«...Приехал сюда А. Сурков, он в погонах уже подполковника. Говорит — 33 месяца ношу форму и теперь приехал недели на две посмотреть работу в тылу, как она есть, чтоб хоть сколько-нибудь понять истоки того исторического подвига, который совершает наш народ.

Вы повидали немало героики тыла вплоть до той, которая завуалирована идиллическими формами. Помните девушек в штанах в Тавде или того веснушчатого, вихрастого «баклушечного руковода»? Смотришь с улыбкой, а подумаешь, не так это просто. Представить только, что на плечах этих девушек, еще не совсем оформившихся, лежит немалая доля и самолетостроения, и быстрого размещения эвакуированных предприятий, и восстановленного строительства... Или взять тот легендарный лабиринтишко, который официально называется тагильским вокзалом. Разве его можно сравнить с египетским, описанным Геродотом и Страбоном, или вовсе мифическим критским. Думаю, ни одному историку будущего не разгадать загадки, как могла эта площадка вынести нагрузку военного времени. Если к этому добавить, что все это происходило не без участия блата и всякой бестолковщины, то получается нечто вовсе фантастическое, где действует уже не хозяйка горы, а кто-то еще более сильный и привлекательный, у старых писателей этот некто поименован по-разному, но все названия

либо стерлись от долгого употребления, либо безнадежно испорчены украсительными привесками и ненужным подмалевыванием. Поэтому надо искать новый обобщающий образ. Может статься, что жизни не хватит, чтоб выпрыгнуть за пределы березки, нивы или таких широких категорий, как русский дух, родина и т. д., но этим смущаться не приходится. Пусть даже каждому такому писателю в конце придется со вздохом повторить «умом Россию не понять», но производное от этих поисков все-таки будет всегда ценным. Поэтому приветствую Ваше устремление, но хотелось бы, чтоб взяли другой, более высокий прицел,— не тот таинственный и высокий образ народного подвига, который у нас пока что не найден и подменяется березками, да нивами, да высокими словами широчайшего содержания.

Вообще говоря — Вы простите мой стариковский дидактизм,— мне хотелось бы еще раз напомнить о значении дальномера в художественной литературе, пусть это азбука, но все же (неразборчиво), а Вы как-нибудь уж прочитайте, снисходя к моему самому старательному, но — увы! — трудно читаемому почерку.

Не тревожа великие тени литературы прошлого, хочу привести примеры из «средняка». Вот «Обломов» жив в наши дни, т. к. он дан по правильно поставленному дальномеру, а «Обрыв» отмирает, хотя сюжетно он сложнее. Причина — неправильный расчет прицела. В результате снаряд, сделанный и выпущенный руками того же художника, упал где-то между газетной злободневностью и настоящим искусством длительной жизни, и только бабушка да Марфинька спасают его от полного забвенья.

Другой пример. Лесковские «Соборяне» чужды нашей общественности, а живут и будут еще жить, т. к. хорошо рассчитаны по дальномеру — на показ национальных свойств, хотя и в ограниченной среде. А романы «На ножах» и «Некуда» задолго до революции сброшены в мусорный ящик истории. И дело вовсе не в их реакционности, т. к. другой, не менее реакционный, роман Писемского «Люди сороковых годов» до сих пор представляет интерес не для одних литературоведов. Причина разной судьбы та же. Лесковские романы оказались в никому не интересной полосе злободневных столкновений, а Писемский рассчитал на показ людей своего времени, и хотя все это окрашено им по-своему, все-таки интересно и для нашей, советской, общественности.

Тут у Вас могут всплыть другие произведения Лескова,

которые очень полнокровны и для наших дней. Но это уже другая область. Область отбора тысячной детали и фразеологических фокусов. Словом, та филигранная работа, которая из сочетания простых дырок дает чудесный узор, попадающий иногда в кладовые искусства. Эту работу надо оставлять тем, у кого много чугуна в заду, мало подвижности в руках и ногах и довольно-таки прохладное отношение к окружающим. Вам это не подходит. Вам по Вашей хватке, энергии и — не будем скромничать — таланту надо осваивать дальномер, чтоб не попасть в мертвую полосу между газетой и художественной литературой. Жизнеописание генерала, пусть самого типичного, все-таки не то, что можно от Вас ждать.

Так-то... Спасибо Вам за письмо. Мы с женой как-то особенно хорошо его прочитали. (Других дома не было.) Она попросту просила передать сердечный привет, а я вот, как видите, развел длительную рацею. Ничего не поделаешь. Старый учитель. Наставник. А сколько раз Вы обратились к худым словам, пока читали письмо? Или с первой страницы бросили? Ну, ладно, будет. Всерьез — привет.

Обида! Когда состаришься, так и чернила расплываться станут.

14.IV-44 г.».

* * *

Не угодно ли еще письмо, в котором Павел Петрович, говоря о делах сугубо бытовых, домашних, снова переходит на литературные темы.

ЗНАНИЕ МАТЕРИАЛА

«Если мое здешнее хозяйство можно отнести к группе зряшноотдыхательных, то Ваше должно быть рационально-фантастическим. В нем, понятно, и кузница, и копанец, вольер и мусорный сарайчик. Особенно мне понравились голуби. Не столько сами по себе, сколько по той литугрозе, которая есть в этом месте. Совершенно согласен, что здесь можно ждать не только детства, которое до сих пор не показывалось. А что, если эту кроткую тварь выпустить пораньше? Например, к июльскому конкурсу Детиздата? Ведь Вы же быстрописец, если не увлечетесь каким-нибудь галстуком-бабочкой, который не подойдет для тех, кого Вы называли. Незачем дожидаться генеральского звания либо полной дряхлости, чтобы начинать

мемуары. Кассиль вон начал свой литературный путь с этого. И опыт оказался неплохой. А у Вас это может получиться вовсе хорошо. Кстати, у меня в памяти засело откуда-то название одной из голубиных пород — «уржумские». Слыхали таких? Тоже ведь и наше поколение не без голубей росло. Терминология была. Право, не следует ли сделать такую вещь, не откладывая в долгий ящик? Вам-то это как по маслу, ибо Уржум, Воткинск, Ижевск почти одна полоса, близкая друг к другу во всех отношениях. Для Вас это облегчается еще общностью ремесленной учебы, которая в Казани велась примерно так же...

...Словом, я уже вижу в Ваших руках детскую повесть «Уржумские голуби», где нарочито спокойно, без применения драматургических котурн, без париков и даже без губной помады, рассказывается о жуланах и чечетках, о змейках и рыбалке, о голубях и учебе в начале столетия. Тонкое и очень широкое знание материала, безусловно, сделают повесть интересной не только для детей, но и для взрослых, которые за голубями смогут разглядеть и подтекст о Кукарке и Уржуме. Можно быть уверенным, что такие голубки высоко взлетят и на любой участок сядут. И, главное, это очень просто и близко.

Считайте это ересью, а я продолжаю думать, что знание материала в писательской работе должно занимать первое место, а не второе. Вот недавно прочитал роман покойного И. Сигова «На старом Урале». Как роман сооружение примитивнейшее, без всяких оснований разделено на три части, которые с какой-то математической точностью распадаются на главы, скорей рубрики. Нет ни одной фигуры, которую можно считать типической, каждая полна противоречий. Да еще болтаются два голубых ангела с серебряными крыльями (как полагается, разнополые). Местами сквозит наивное желание прославить свой род, и очень заметны отблески народнических мечтаний, перенесенных в более раннее время. Для законников от литературы это хлеб с маслом, медом, икрой и еще чем-нибудь. И все-таки вряд ли найдутся даже в этой среде такие развязные, чтоб раздраконить этот «роман». И не потому, чтоб постеснялись сказать плохо об авторе, который только что умер, а по другой причине. Даже самый обалделый от литературных канонов не может не почувствовать в этой работе той первозданной красоты и силы, которую никому не дано выдумать, кроме самого великого художника, именуемого жизнью. Неискушенный читатель поверит этой книге пол-

ностью, искушенный может улыбнуться наивности построения, неслаженности, противоречиям, но тоже должен поверить, т. к. все не в Переделкино выдумано, а взято из правды жизни, только нарисовано с большими пропусками.

Это Вам вместо ответа о переделкинских сферах. Мотив, который мне меньше всего понятен. На мой взгляд, писателю интереснее и полезнее жить бок о бок с представителями любых профессий, но не своей. Во-первых, гарантия от кастовой замкнутости, во-вторых, какое-то обогащение теми деталями, которое не увидишь при встречах вне своего бытового окружения. А ведь это и есть то самое, по чему давно скучает литература. В частности, по-моему, тут ключ к самому важному — к героике будней. Кто ее подал сколько-нибудь увлекательно? Разве Борис Житков, смевший опоэтизировать такую малопривлекательную профессию, как разносчик почты. Не знаю, может быть, это глупость, писательский домысел, но мне вспомнилось при имени Житкова, как я искал одну дачу в какой-то Салтыковке. Там мне один почтовик, из тех, кто «шагают с толстой сумкой на ремне», очень тепло объяснил: «Рядом с нами писатель жил, Житков по фамилии, а теперь его семья живет, а дальше вот те самые и будут, кого вам надо». И не преминул добавить: «Хороший человек Житков был. Душевный».

Понимаете, что это может значить? Думаю, что дом в Лаврушинском и Переделкино самое заметное дали в результате взаимного общения, а черпнули из основных истоков жизни».

* * *

Знакомые всячески старались, оберегая глаза и время Павла Петровича, избавить его от технической работы. Но напрасно. У него свои взгляды и суждения.

Вот они:

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕПИСКА—НЕ КАНЦЕЛЯРИЯ

«Распределить же работу по-другому не умею. Меня вон тут учил один американствующий дядя, как надо работать, да я оказался неспособным учеником. Даже конверты подписываю саморучно. Глупость, может быть, это, но не упрямство, а привычка, от которой, знаете, не так-то легко освободиться и в более раннем возрасте, а старикам и пытаться не стоит.

Да и в литературной работе техническая часть не совсем канцелярия. Сколько ни правишь вещь, а начни переписывать или перепечатывать, обязательно видоизменишь. И не всегда к худшему.

Есть и другая сторона: не люблю длинных вещей. Мне кажется, они похожи на товарный поезд. Первый десяток вагонов при встрече пропускаешь с удовольствием, с любопытством, дальше полоса безразличия, а еще дальше думаешь: когда же это кончится? Как читатель ловлю себя на таком же отношении к книгам, которые никак нельзя отнести к неинтересным. Судя по себе, и жалею своих читателей. То ли дело коротышка. Ее одолеть легко, а отдача тоже бывает, и неплохая, если коротышка сделана. Сегодня вот получил письмо с Украины, от какого-то деревенского человека. Образование у него, по-моему, не выше семилетки. Прочитал он из моего только «Сказы о немцах» да «Васину гору» в «Молодом колхознике», а наговорил столько ласковых слов, что мне стыдно стало за «Веселухин ложок». Поторопился и испортил хорошую тему, которая даже в таком виде может задеть читателя. А ведь могла бы стать совсем ладной, если бы раз-два перепечатать; может быть, правильнее остаться на коротышках? В них ведь тоже кусочки жизни, и читать не так долго.

...В семейном положении перемен нет. Никита растет старательно. В семье за пределами улицы Чапаева добавка — у Лели родился сын. Получили телеграмму из Ленинграда, что малыш и мать здоровы и чувствуют себя неплохо. Это подбадривает и предков. Разве можно считать себя стариком, когда только четыре внука? Надо же внучек дождаться.

Марии Степановне, Ксане, Рите привет от меня и всех наших.

14.XI-46 г.».

* * *

Работая на Гороблагодатском железном руднике над коллективной книгой рабочих, я приглашал приехать к себе Павла Петровича. Это совпало с выдвижением его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Об этом и письмо.

В „КЕРЕМЕТЬСТАН“ ЗА СКАЗКАМИ

«По части моей поездки «вопрос отпал». Приходится поворачивать в Европы[1] вплоть до Красноуфимска. Недаром же там сидели 250 редакционных работников Огиза. Вот он и выдвинул своим кандидатом в депутаты Верховного Совета писателя. Всерьез же это вышло потому, что в этот избирательный округ входят Полевский, Северский, Ревда, Дегтярка и другие — «сказовые места». В ближайшие дни надо будет отправляться в Красноуфимск, а оттуда по районам, которых немало. Видимо, это должно дать какой-то и творческий поворот. Особенно меня интересует старая крепостная линия: Киргишан, Кленовая, Бисерть, Гробово, а также Манчажский район. Обычным путем, наверно, никогда бы не добрался, а тут волей-неволей придется побывать. А дальше Ачит, Атиг, Барда, Арти, положившие начало геологическому понятию Артинский ярус, Арти-Шагирт и целый кусок заводского Урала с акающим говором, так называемые «гамаюны». Чувствую, что все это могло бы дать материал для новой книги, если бы не приближающиеся 67 лет.

Как все-таки обидно, что жизнь такая коротенькая, а спешить все-таки нельзя. По подстрочникам только не поймешь марийский фольклор и по трем — пяти книгам не станешь в курсе особенностей края. Требуется более длинный промежуток времени, а будет ли он? Пока же полон надежд, что, «может быть, на мой закат печальный блеснет улыбкою прощальной веселый Кереметь[2]». В кавычках, как видите, не одно пушкинское взято, но ничего — в письме можно. Эти старые марийские боги, между прочим, имеют какое-то сходство с «хозяйкой горы», в них также теряются грани мрачного и веселого. Помню, о них мне уже приходилось писать, как и о «первонасельниках края» — марийцах. Выходит — поворот к давней теме, которая может оказаться тем увлекательней, чем глубже в нее войдешь. Поэтому считайте меня в длительной командировке в «Кереметьстан» за сказками...

...Числа 11—12, вероятно, уеду. Примерно недели на две, на три, так как избирательный округ довольно разбросанный, и есть районы, куда можно пробраться лишь на лошадях.

---

[1] Красноуфимский район Свердловской области находится в европейской части РСФСР.

[2] Кереметь — языческое божество.

Таких, правда, немного, но ведь знаете — лошадиные темпы не особенно торопливы...

...Ну, не унывайте. Желаю Вам еще крепче влипнуть в книгу. В этом вся сила...

9.I-46 г.».

* * *

Павел Петрович очень много времени уделял общественной деятельности, иногда в ущерб своей литературной работе, и я написал ему об этом и получил такой ответ.

ИЗБИРАТЕЛЬ И ДЕПУТАТ

«Не менее правильным мне показалось и другое Ваше высказывание: «Вы ведь, во-первых, писатель и, во-вторых, депутат. Вы потому депутат, потому что писатель». Это точно.

Согласен. Точнее быть не может, только к этому надо кое-что прибавить. Это наше мнение, до которого 300 000 избирателей ровно никакого дела нет. Они ведь выбирали не писателя, конструктора, тракториста, учителя, шахтера, они выбирали депутата, который должен был тоже знать, сможет или не сможет он нести свое звание. Психологическими моментиками тоже пренебрегать не следует: в творчестве они не безразличны. Чтоб это было ясней, расскажу о сегодняшнем дне.

Знаете ведь, у меня ночной режим работы. Сижу подолгу, просыпаюсь поздно. Сегодня мне не дали доспать. Пришел какой-то дядя и скромно заявил: «Я подожду». И ждал сколько-то. Выхожу. Человек огромного роста, держится очень тихо, даже как будто с опаской: потревожили, дескать. Оказалось — грузчик одного завода, гвардеец, три ранения, орден, медали. История такова. Сам он из Курска. Семья эвакуировалась «куда-то». Он воевал до последнего дня. Ранен третий раз в Берлине накануне капитуляции. Выздоровел. Поехал на Урал искать семью. Нашел в Ревде двоюродного брата. Остановился у него. Все-таки свой человек. Чтоб без дела не сидеть, поступил грузчиком, а через неделю узнал, что его семья в Новосибирске. Уже три месяца бьется, чтоб либо самому освободиться, либо семью перевезти, а толку никакого.

Вот и скажите, можно ли такому человеку сказать: «Приходите в следующий четверг»? Может, еще пояснить: «Некогда мне, старину перебираю»?

А ведь только с такими кричащими вопросами и ходят к депутатам.

Вон к Петрову одна женщина, которую «по всей законности» выселили с ребенком с квартиры, принесла своего годовалого парнишку и говорит: «Пусть он тут у вас побудет, товарищ депутат, а то на улице замерзнуть может».

И какое этой женщине дело, что Петров выдающийся конструктор, Герой Социалистического Труда и трижды лауреат. Пришла она не к конструктору, а к депутату, который должен что-то сделать.

Так-то, друг мой. Когда человек идет в воду, так ему сухим не быть. Мудрость небольшая, а забывать ее нельзя.
1.12-46 г.».

* * *

Как вы заметили, письма Павла Петровича разнообразны по содержанию. Их трудно распределить по тематическим разделам. Тогда бы пришлось чуть ли не каждое письмо резать на куски по абзацам, от этого письма потеряли бы свой аромат букета из разных цветов.

Сейчас я предложу вашему вниманию самое пестрое и самое длинное письмо. Мне оно теперь дорого и тем, что, работая над рукописью этой, тоже очень пестрой, книги, могу оправдаться. Оправдаться тем, что я работаю в стиле и манере моего главного героя.

Прошу вас. Читайте.

ПЕСТРОЕ ПИСЬМО

«Дорогой Евгений Андреевич!

Явственно ощущаю, что строитель Сольнес из Переделкина вытесняется писателем, наскучавшимся по своей машинке, на которой, вдобавок ко всему, можно подчеркивать нужное слово красным. Разве от такой отойдешь? Боюсь, чтобы корреспондентский вал с Мерзляковского не захлестнул меня с головой. Чтоб не забыть чего-нибудь сугубо важного, начну с самого сволочного, то есть с экономической части.

...Прежде всего, конечно, о себе. Своя рубашка ближе... Не предпринимайте, пожалуйста, никаких шагов по поводу моей финансовой бледной немочи. Это неудобно для Вас, и мне не подходит: надо же предоставить «нашему депутату» воз-

можность самообслуживаться хоть в денежном отношении. Да и надо ли напирать на эту сторону. Сам же Вы говорили о необходимости шпор ленивому коню. По части лености не согласен. Никогда не бывало, чтобы впусте сидел, но, что склонен растекаться по древу,— этого отрицать не могу. Иной раз месяцами и даже годами занимаюсь тем, что явно никогда не будет реализовано. Денежная погонялка, выходит, нужна. Хотя есть у меня и другая черта: «Золотое руно», «Казбек» и пр. деликатные курю с таким же аппетитом, что и махорку. Правда, окружающим это не всегда приятно, но, как истый самолюб, мало этим тревожусь. Тут был один писатель, Вердеревский. Барин, надо полагать, но некоторые его вещи печатались в «Отечественных записках». Этот Вердеревский в 1857 году совершил небольшую прогулку: от Ирбита через Камышлов, Екатеринбург, Кунгур до Перми на тарантасе, от Перми на колчинском пароходе «Стрела» (со скоростью 10 верст в час), дальше прогулялся волжским бережком опять на своем тарантасе (крепко, видать, сделан был) до Царицына, оттуда повернул на Калач хлебнуть водицы из Тихого Дона, а из Калача пробрался на Кавказ и там тоже поездил по всяким тамошним Боржомам. От этой поездки осталась книжка, страниц на 300, «От Зауралья до Закавказья». Рецензентов Огиза тогда не было, поэтому книжка вышла в том же 1857 году. В ней много забавного, поверхностного, но теперь, когда прошло около сотни лет, она читается с интересом.

В качестве образца благоглупости приведу цитату о пельменях: «...Может быть, решитесь попробовать на вкус знаменитых пельняней (пель-нянь — по-пермяцки хлебное или медвежье ухо), ошибочно называемых пельменями, этого любимого лакомства целой Сибири и всего Приуральского края: оно кисло и сытно, и не без запаха лука...»

В другом месте рассказывает:

«— Дома барин? — спросил я краснощекую здоровую бабу, сидевшую на подъезде с чашкой пельменей, плававших в уксусе.

— Нету-ка,— ответила камеристка, дожевывая толстый и сочный, как сама она, пельмень или, правильнее, пельнянь».

Видите, сколько чепухи? Медвежье ухо, плавают в чашке с уксусом, поедаются на крылечке, вроде семечек. Величиной и сочностью со здоровую бабу! Попробуйте представить!

Ну, дело не в этом. В книжке немало и другого. В частности, меня поразил один факт. В Екатеринбурге Вердеревский смотрел один купеческий дом. Оказалось, отделано с показной купецкой роскошью: много бронзы, позолоты, лепных украшений, резьбы по дереву, превосходный фарфор и фаянс, прекрасный инструмент, но самое замечательное в том, что хозяева в этом доме не жили. Предпочитали другой дом, попроще, пообжитее, а этот держали «так» — для показу. По этому поводу автор пущает сентенцию об ограниченности провинциалов, не умеющих пользоваться комфортом. Такая сентенция меня не устраивает. В ней много либиховского мыла. Помните такое? Или Вы уж этого не знали? Многие статьи начинались: «Знаменитый Либих в своих «Письмах о химии» считает потребление мыла мерилом культуры...» После этого цифры: в Англии столько-то, во Франции столько-то... в России, как водится, меньше всего. Отсюда вывод об отсталости, немытости и т. д. Агитационное значение подобных высказываний для того времени было понятно, но разве оно было вполне верным? Все же мы знали, что в стране широко употребляется зольный и поташный щелок, а на любой деревенской усадьбе имелось такое изумительное сооружение, как русская баня, которая умела отмывать грязь лучше любого сорта мыла. И ходили в такие бани ежесубботно. Случалось, ставили бани и на покосных участках и около угольных куреней. Это о чем говорит? Как напаришься в такой бане да вспомнишь про либихово мыло, так и подумаешь: «Выпарить бы тебя, узнал бы мерило культуры!»

То же и с сентенцией Вердеревского. Дело вовсе не в ограниченности вкуса к комфорту, а в другом понимании этого комфорта. Кедровое дерево, дающее мало щелявости и хорошо поддающееся чистке,— это комфорт, а резное дерево внутри помещения — это клоповодство. Браная скатерть — комфорт, а вязаные, плетеные или иным способом продырявленные тряпки пригодны только для нежилых помещений и попали в наш обиход как отрыжка барства, которое менее всего думало о тех, кому приходилось возиться со всей этой штуковиной сомнительной значимости. Словом, люди тоже не без голов ходили, и смотреть на них не всегда надо сверху вниз, а, может быть, наоборот. Погодите вот, напишет еще кто-нибудь поэму о русской избе. Не о коньках и резьбе, а о том гениальном использовании малых объемов для сложнейшего комбината, где не только жили, но и пекли и варили, стирали и хомуты сушили, хлеб рассолаживали и овощ хранили да еще

ухитрялись таких ребят выращивать, которых прямо в сказку ставь.

Надеюсь, Вы что-нибудь поняли из этой околесицы, попавшей сюда под свежим впечатлением только что просмотренной книжки. А книжка мне нужна не больше, чем собаке пятая нога. Это на те же кости прикиньте, потому как инженер душ обязан понимать и то, что сами души не вполне разумеют.

...Наши рецензенты и критики пока прославились тем, что не видели главного или видели его не так, как надо. Только после указания людей, делающих жизнь, начали прозревать. Причем, к сожалению, это основное свойство наших литературоведов и критиков. Если писатели мало знают советскую жизнь, то критики еще более книжная кабинетская животинка, которая обо всем судит по меркам литературных образцов. А между тем эти мерки как раз больше всего и мешают новому, такому, чего еще не было в литературе.

...Недавно был в колхозе «Заря» Ачитского района. Так, ни за чем... Посидел там на завалинке дня два, поговорил с собеседниками более или менее случайными и все-таки смею утверждать, что этот колхоз ни одной гранью не походит ни на «Бруски», ни на «Поднятую целину». Достиг он многого, но вовсе не теми путями, какие указаны в тех произведениях. Да иначе и быть не может, т. к. в каждом колхозе могут быть особенности, которых нет и не может быть в другом. Секрет успеха здесь заключается именно в том, чтобы правильно найти самое главное. Причем пласт земли вовсе не играет первой роли, зато могут оказаться главенствующими где судоходная река, где природные озера, где лесной массив, близость железнодорожной станции, завода, даже старого забытого тракта. Не улыбайтесь, Сибирский тракт, эта важнейшая когда-то магистраль страны, может и теперь давать отсвет в колхозном хозяйстве. От нее, от этой старой полосы жизни трактовой дороги, остались переудобренные огороды большого размера. Не успевали ведь справляться с навозом, оставшимся после обозов. Так и деревни были приспособлены: тянулись по линии вдоль тракта на многие версты, а за двором огород, сколько кто мог загородить. Не случайно и теперь по этим огородам дикая конопля растет. Хватает ей, а растение из таких, что на тощих почвах не разведешь.

Бросим. Далеко поехало. Поговорим лучше о Бальзаке, Флобере и прочих не членах Союза. Мне кажется, они вовсе и теперь не снимаются с повестки дня. Только надо смотреть

на них не по-литературоведчески — что и как они писали,— а по-организаторски, как они добились, что их произведения оказались такими неувядаемыми. Что тут больше действовало: образование, труд, природная одаренность, всестороннее знание жизни?

Взять хотя бы Бальзака. Он не только кончил Сорбонну, но еще слушал лекции по праву. Это, однако, не помешало ему писать плохие романы и повести, которые он сам отбросил. В этом, между прочим, и ответ о природном даровании. Оно, бесспорно, было, но само по себе, даже усиленное прекрасным образованием, не создало Бальзаку заметного имени. Имя пришло потом, после 30 лет, когда Бальзак сел в затвор отрабатывать свои долги. А их накопилось 50 000 франков. В золотой валюте первых десятилетий прошлого века. Это, наверно, вытянет, примерно, на полсотни переделкинских дач наших дней. Чтоб сделать такой долг, человеку, конечно, не просто приходилось «вращаться в жизни», а вращаться винтом с предельной скоростью, доступной для техники того времени. Повидал-таки, повстречался! До конца бы дней хватило, но он не потерял вкуса к тому вращению, которое ему уже много дало. Мы знаем, что он пытался выставить свою кандидатуру в депутаты. Провалился, но не в этом суть. Дальше опять издательская деятельность, и опять денежный провал на сакраментальную для него сумму 50 000 фр. Не остыл и на этом, затеял разработку старых серебряных рудников в Сицилии. А его роман с Ганской, потребовавший путешествий и в Италию, и в Питер, и даже в Бердичев. Понятно, почему у Бальзака типы, встречающиеся в его произведениях, считаются тысячами. Сколько тысяч, это литературоведы знают до тонкости, а почему он так разбогател, это почему-то остается в тени. Разве это не то самое, о чем Вы говорите? Ведь мы как раз в этом и отстаем. Настоящее полное включение в жизнь только и может сделать писателя, принести новые проблемы, показать тех героев, о которых мы пока лишь предполагаем. Только включение нам нужно дифференцировать, т. к. жизнь стала много сложней. И не обязательно куда-нибудь ехать. Это, конечно, легче, но не обязательно. То, что происходит рядом, в своем городе, в своем квартале, даже в своем доме, мы ведь, честно говоря, не поняли и не усвоили в свете марксистской философии. Да, да, прошу не усмехаться. Что вот, например, Вы знаете о внутреннем мире своей Риты или я своей Риды? А ведь их мир слагался вовсе не в тех условиях, какие описаны в литературе.

Ну, хватит и об этом. Желаю счастья, договорим потом. Привет от всех наших всем вашим.
30.9-44 г.».

* * *

Павел Петрович всегда был жизнерадостным и веселым человеком. Даже в трудные дни его не оставляло острословие и юношеский оптимизм.

Ниже приводится письмо, написанное в те дни, когда у него было очень плохо с глазами. Он готовился к слепоте.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПИСЬМА

Мне кажется неправильным, когда друзья Павла Петровича в своих воспоминаниях, статьях, обзорах лишают хорошего, и очень хорошего, человека присущих ему душевных спадов, сомнений, тяжелых раздумий, рисуя его только в радужных красках, тем самым земного делают неземным, причисленным к лику непогрешимо-святых.

А ведь с Павлом Петровичем случалось всякое, и ему иногда было очень тяжело. Не вынося своей боли на люди, он все же хотел поделиться с кем-то, выплеснуть свои горести.

И он мне написал очень печальное письмо:

«У нас определенное сродство душ: я тоже хвораю, и тем же примерно видом болезни. Но есть и разница. Вы это делаете активно, ругаетесь по адресу сульфидинов, забавляетесь духовными концертами (верней, их описанием с чужих слов). У меня это проходит гораздо хуже, тоскливее. Пожалуй, такого не бывало со мной. В памяти все время стоит картина этого сумасшедшего голландца Ван-Гога.

В комнате со щелявым полом, на расшатанном стуле, около пустого стола сидит человек с закрытым руками лицом. На первом плане прекрасные линии лба и облысевшего черепа с жалкими остатками пухлявых волосиков на висках. Видно, что старик когда-то был кудряв, имел многообещающую голову, рослую и стройную фигуру. Теперь он обветшал до предела. Это видишь не только по согбенной фигуре, но и по любой складке одежды, тоже ветхой и какой-то сугубо старомодной. (Не могу понять, чем это достигается, но впечатление вполне и определенное и неотразимое.) Под картиной издевательски проникновенная надпись: «На пороге вечности». Чувствуете?

На такую штуку способны лишь подлинно одержимые от искусства.

Вот и сравниваю на досуге. В деталях много разницы. Рослой стройной фигурой не обладал, кудрей не имел. Волосы лишь волновались и, вероятно, кой-кого волновали. Сижу не у пустого стола. Наоборот, он завален до отказу. Вместо обветшалого стула кресло. Пол не щелявый, а очень плотный, недавно покрашенный. Комната оштукатурена, окрашена, и даже голубой кантик отбит. Устроены стеллажи, частично закрытые, типа шкафа. Словом, налицо все элементы «обстановочки», от которой прежде отворачивался, под влиянием, может быть, Глеба Успенского. Теперь убедился, что так удобнее и легче для работы. Но вот работа почему-то не стала клеиться, и все опреснело. Даже машинка, которая еще совсем недавно занимала, теперь тоже потускнела. Немножко более интересна лишь в часы потемок, когда печатаешь, не имея возможности разобрать написанное, и потом утешаешься, если все-таки вышло терпимо. Но это уж, как видите, экзотика, объяснимое спецификой зрения желание научиться печатать вслепую. Тоже не из радостных мотивов. Вообще же выходит гораздо хуже положения того, кто дан на картине Ван-Гога. Кажется, что от пустого стола и щелявого пола легче подходить к порогу вечности. Не подходит все это мне, непривычно, а отделаться не могу. Причина, кажется, в том, что за последнее время у меня полоса литературных незадач. Представляется вещь соблазнительной, а напишешь — ни два ни полтора.

Вы вот спрашивали, что я за это время сделал, а мне и сказать нечего. Из того, что Вы не видели, наберется ли полтора-два листа. Разве это темпы, особенно для тех, кому календарь показывает близкий отход. Да и не в количестве дело. Угнетает другое: все кажется каким-то посеревшим, приевшимся. При таком состоянии положительно боюсь приниматься за те вещи, где можно столкнуться с образом посложнее, чем это обычно бывает в сказках. Недавно хотел попытать себя в озорном роде. Не решился,— побоялся детского читателя. Не умеем мы этого делать так легко, как французы. Написал же Ромен Роллан, при всей его рафинированности, такую вещь, как «Кола Брюньон». Там он не боится рассказывать, что молодая женщина, скатившаяся с крепостного вала, «ослепила вражьи очи звездою полуночи»...

...У нас в подобных случаях получается либо очень грубо, либо так смазывается, что и не почуешь. Знаю,— недавно над этим бился. Ни черта не вышло. Попутно пробовал припом-

нить, у кого бы поучиться,— не припомнил. А мне это надо бы, т. к. при переплаве озорного в мелодраматическое много уходит и занятного и яркого.

С детской повестью у меня тоже не идет, а тянется. Тут как будто никаких особых трудностей, пиши попросту о былом, а вот тоже не пишется. Тяну и с фольклором по Березовскому заводу, и тоже без всяких внешних оснований. Неужели здесь действует Ван-Гог?

...Ну, ладно. Хватит скулежу. Желаю Вам, Марии Степановне и ребятам побольше хорошего и веселого. Наши, кроме меня, благополучны и здоровы. Сам тоже надеюсь выкарабкаться и отрешиться от календаря.
24.I-45 г.».

* * *

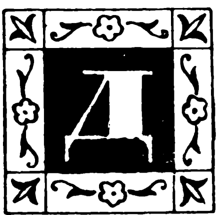
Свет восторжествовал, победив мрак. Слепота миновала Павла Петровича. Видимо, есть какая-то психо-физиологическая правда в утверждении, что самое страшное — когда болезнь пускают в свою психику, в свое сознание, заболевает и здоровый.

Павел Петрович не пустил слепоту в свой внутренний мир, а внутренний мир не пустил ее в слабеющие глаза...

ТЕТРАДЬ ВОСЬМАЯ



ПЕШКОМ И НА КОЛЕСАХ



умая о языке Павла Петровича, о языке разговорном и литературном, спрашиваешь себя: «Откуда такое богатство словесных красок и обилие слов? Слов, иногда много раз слышанных, но предстающих в новом их сочетании и поэтому сызнова сверкающих неслыханной до этого фразой».

Вычитать этого нельзя, хотя Павел Петрович и занимался чтением словаря В. И. Даля. Не справочным чтением, а выборочным. Так, как читают собрания сочинений. И мне это понятно.

Даль в своем, казалось бы, «прикладном» труде мастерски раскрывает словообразование, толкуя какое-то из слов. И в этом есть свой еле уловимый сюжет членения и размножения слова-понятия на множество слов-братьев, слов — сестер, внуков, племянников, усыновленных пришельцев из другого языка и разлюбленных народом слов-уродцев своего лексического обилия.

Для словолюбца Бажова словарь Даля был книгой и поучительного и занимательного чтения. Но книжное знание языка — это все-таки как бы омлет из яичного порошка.

— А я ведь был пионером велосипедного движения на Урале,— рассказывает мне Павел Петрович, колотя клюкой

догорающие в печи головешки.— Тогда чуть ли не первые велосипеды появились...

Вечер долог, печь тепла, запас воспоминаний о пеших странствиях и велосипедных поездках огромен. Не на одну свердловскую пургу...

ПИОНЕР ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ

На Среднем Урале едва ли найдется уголок, где бы не побывал, о котором бы не знал страстный краевед, неутомимый добытчик устного речевого золота, искатель самородных сказаний, записыватель бесценных слов... На рудниках ночует, в цехах днюет, с бывалыми людьми знается, со стариками дружбу ведет, мальцов не обходит, про жизнь слушает. Во все вникает. Мусором даже не брезгует. Случается, что вместе с ним из другой избы и редкое словечко выметут. Золотник весит, а пуд тянет.

Хмельные гулянки тоже не обходил Павел Петрович. Пьяный словами кидается запросто. И не только бранными, да и они иной раз алмазной гранью отсвечивают. Про казарму и говорить нечего. Там со всех губерний слова в одном речевом строю стоят. Выбирай знай лучшие.

Бескраен, бездонен сказочно-сказовый-пересказовый рудный Урал. Речисты мастеровые уральские старики. Даже в старом колодце синюю старуху ведьму они поселили. Лебедей не забыли. Про эту птицу немало бытует всякого, сумей только соскоблить наросты лет и дойти до главного зерна. И горный козел не по одним хребтам бегал, дотошный трудовой уральский люд серебряным копытцем его подковал. Опять сказка.

А про тайную силу, что нутро гор сторожит, людей привораживает, тоже не одна, не две побывальщины. В темноте ведь светлые-то камешки добывались. В штольнях. А там мало ли страхов! И свою тень за горное чудище примешь. Сколько там незнаемой красоты каменной росписи! Не сказовая ли все это руда? Бери да переплавляй ее в волшебное литье...

Весь вечер купаюсь я в рассказываемом Павлом Петровичем. В комнате сизым-сизо от самосадного махорочного дыма. Не продохнешь. А мы, как «на воздушном океане без руля и без ветрил», в синем плаваем тумане на волшебных кораблях...

Время прошло. И я, повторю сотый раз, разумеется, не помню в точности всех выражений по этому или другому пово-

ду. Запомнилась только их суть и примерная вязь словосочетаний.

«Пионер велосипедного движения» остался таковым до последних дней. Он всегда предпочитал медленное пешее передвижение быстрому.

— Быстро надо снабженцам ездить, а мы ведь с вами заготовители (заготовители слов — имел он в виду). Нам слушать надо.

В Тагиле ли, в Тавде ли, в Краснокамске, Перми, Первоуральске, Челябинске, Висиме, где мне довелось побывать с Павлом Петровичем, где всегда можно было получить автомобильный или, на худой конец, гужевой транспорт, он мне часто говорил:

— Я-то бы лучше на своих на двоих и вам бы советовал... Дольше не состаритесь, и опять же разговорчивого человека можем встретить.

И мы очень часто встречали «разговорчивого человека». Бакенщика. Старика доменщика. Подростка из школы ФЗО. Словоохотливую бабушку. Всезнающего пустомелю. И кем бы ни был наш собеседник, Павел Петрович всегда находил в такой встрече пользу.

Про одного враля он сказал так:

— Врет он, конечно, без оглядки, без совести... Но врет-то как? Слова-то какие? Выдумка-то одна чего стоит! Подружитесь с таким. Заведите знакомство, вот вам уральский барон Мюнхгаузен. Веселое-то ведь тоже надо. Через глупость иногда и умное лучше видится. Контраст.

Минуло это все, но не умерло, вспомнишь, как говорится, и оживет. И я вспоминаю и оживляю наши поездки. Мы ездили просто так, безафишно, но была и универсальная афиша, в которой клубу или Дворцу культуры, школе нужно было только дописать кистью число, день и место литературной встречи.

Мы вдвоем, очень часто втроем с Виктором Васильевичем Данилевским бывали в больших и малых населенных пунктах.

ВСТРЕЧА С ПЕРМЬЮ

Пермь военного, предпобедного периода еще не была городом с миллионным населением. Она не растянулась еще на семьдесят километров вдоль берега Камы и не перешагнула через нее новым широким шоссейным мостом. Не было и рай-

онов, составившихся из сотен многоэтажных домов, дворцов, стадионов, индустриального обрамления некогда городских массивов.

Тогда еще можно было разлучавшемуся с Пермью на десяток-другой лет узнать знакомые места и обойтись без расспросов: где и что и как проехать. Но это уже был неустанно растущий город, в котором новоселов было едва ли не больше, чем коренных жителей.

Разумеется, главным гостем Перми был Павел Петрович Бажов. И это понятно. Понятным было и внимание к лауреату Государственной премии профессору Виктору Васильевичу Данилевскому — знатоку уральской промышленной старины, автору книги о создателе первой огнедействующей машины прославленном Ползунове. Я же в некотором роде был своим человеком, но также не обойденным гостеприимством хлебосольной Перми.

Всех встреч, особенно литературных, мне уже не перечесть. На них особенно блистал Виктор Васильевич Данилевский. Ему, великолепному лектору и рассказчику, было что поведать о давних технических находках и открытиях уральских умельцев прошлого. Было что рассказать о Черепановых, создавших первый на Урале паровоз.

Павел Петрович не отличался даром чтеца. Дело не в одном его глуховатом голосе, но и отчасти (может быть, я ошибаюсь) в тематике сказов. Все они «географически» принадлежали, за исключением некоторых башкирских сказов, местностям, находящимся по ту сторону Уральского хребта. Возможно, мои предположения ошибочны, а все же, скажем, златоустовцам, каслинцам, жителям Полевского или Сысерти, наверно, приятнее были те произведения Бажова, героями которых были их земляки.

Был такой «земляческий» сказ и для пермских жителей. Только был он великоват по размеру и труден для чтения.

В качестве компенсации за этот не прочитанный Павлом Петровичем единственный пермский сказ я позволю себе рассказать о нем особо и подробно, тем более что к нему я имел свое особое и пристрастное касательство.

Павел Петрович любил и чтил Прикамье. Не случайно же он довольно часто и старательно внушал мне, что слава Урала и Сибири началась с прикамских, ныне пермских, земель. Не так часто и не столь громко называемая теперь река Чусовая была первым ушкуйным, или водно-судовым, путем, соединяющим

Европу и Азию, позволившим впоследствии создать крупнейшую евразийскую Пермскую губернию.

Здесь, неподалеку от Перми, которой еще не было ни на карте, ни в замысле, в огороженном еловым тыном Чусовском городке-крепости родилась дерзновенная идея — навсегда оборонить восточный рубеж нашей отчизны от варварских набегов орд, главным источником существования которых были войны, жестокое порабощение малых народов и племен необозримой Сибири и Урала.

Именно отсюда, из порубежного крепостного деревянного Чусовского городка, в семенов день, в день 1 сентября 1581 года, начался справедливый ушкуйный поход отмщения «интервентам» той поры, под предводительством обессмертившего себя в веках сына нашего Прикамья Ермака Тимофеевича.

Легендарный Ермак меня интересовал не просто так, не по песне «На диком бреге Иртыша».

Для этого были куда более поэтические предпосылки. Они состояли в том, что донской атаман Ермак вовсе не донской, а чусовской, и не Ермак, а Василий — сын строгановских кабальных холопов. Подобная версия утверждалась не только в 22-м полутоме энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона на странице 673, но и в 15-м томе БСЭ на странице 529, где поименно называются родители Ермака и сам он, нареченный Василием, сыном Тимофеевым по фамилии Аленин, но и в молве.

Но энциклопедии энциклопедиями, с ними я познакомился значительно позднее, и молва молвой.

Мало ли какие словесные кружева плетут пермские старухи — мастерицы по стоцветным сказительским узорам.

Как им верить?

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

А верить оказалось можно. Появился сказ Павла Петровича «Ермаковы лебеди».

Бажов не столько своим пермским сказом «Ермаковы лебеди», сколько рассказом о прошлом великопермской земли вдохнул в меня веру, что я напишу пьесу про Ермака, что мне и карты в руки.

У меня уже были готовы строки, написанные для пролога другой сказовой пьесы, декларирующие ее жанр:

Минувшее преданьем
поросло,
В одной струне звенят
и быль и небыль,
В одном узоре — вымысел
и правда...

Не случайно же и Павел Петрович аллегорически вплел в свой сказ о походе Ермака явно символическую, волшебно-сказочную нить о прирученных маленьким Васяткой Алениным лебедях, которые ему, ставшему атаманом Ермаком, указали путь в Сибирь.

Павел Петрович неторопливо, но вдохновенно рассказывал о пермской земле, которая стала отправным плацдармом не покорения, а освобождения от чудовищно непосильной ханской дани малых сибирских и уральских племен и народностей.

Бажов терпеливо и вдумчиво внушал мне, как подъяремные рабовладельцу Кучуму народы тянулись к передовой Руси и стремились подняться на более высокую ступень общественного развития эпохи воссоединения феодальных царствишек в единое, монолитное Московское государство, под защитой которого предпочитали быть малые племена, изнывающие под варварской ханской пятой.

Не огнестрельное оружие Ермака освободило дикарскую Сибирь, а превосходство общественного строя Московского государства присоединило ее к нему, порывающую не с пережитками рабовладельчества, а с доподлинным ханским рабством.

В общих чертах об этом я знал и до Бажова, но педагогический талант Павла Петровича, дружеское собеседование с ним оказали на меня бо́льшее воздействие, чем это делали лекции. Это расковало меня, лишило боязни исторического домысла, я никогда еще не писал с такой свободой, как это было во время работы над героическим представлением «Ермаковы лебеди». Я не сомневался, я верил своему перу, которым, кажется, незримо водил милый и дорогой, трижды родной Павел Петрович Бажов. Однако...

Однако в искусстве и литературе не все так просто, как это кажется тебе в процессе первоначального накопления художественных средств созидаемого тобой произведения.

Возник конфликт. Конфликт не с Бажовым, а с жанром, в котором был написан сказ «Ермаковы лебеди».

Сказ обычно ведется от имени действительного или вымышленного сказителя. Поэтому язык сказа выдерживается писате-

лем в регистре языка сказителя. В сказе, скажем, граф или барин говорит только в диапазоне словесных запасов сказителя, когда же появляется чужеродное для сказителя словечко или выражение — сказ рушится и слышится фальш.

В драматургии же, в спектакле это невозможно. Если все персонажи пьесы будут говорить языком сказителя, а не своим, характерным для данного действующего лица, языком — получится несообразная чушь.

В самом деле высокий монолог Ермака — это один речевой строй, а у Строганова — уже другой. У шутейного старика Кушги — третий. У невесты Ермака Аленушки — четвертый.

Павлу Петровичу не хотелось терять свои сказовые, самоцветные слова, а я не мог представить спектакля, в котором все разговаривают в одной и той же манере сказителя.

Конфликт длился не очень долго. Относительно языка героического представления «Ермаковы лебеди» мы нашли с Павлом Петровичем общий унифицированный язык и приняли его оба без компромиссов; на премьере, когда пьеса «стала» спектаклем, когда реплики, монологи, написанные ритмической прозой, а местами откровенно белым стихом, стяжали первые аплодисменты зрителя, все стало на свои места.

— Одно жаль,— сказал про пьесу Бажов,— до оперы она не дотянула, а драму — переоперила.

А я не сожалел и не сожалею, повторяя древнюю истину с некоторыми добавлениями: «Книги, как и пьесы, имеют свою судьбу...»

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

Что там ни говори, а мы с Павлом Петровичем приехали в Пермь в том числе и для встречи со своей юностью. Он — с далекой, а я — не столь еще давней. Смотря как измерять продолжительность этой весны человеческой жизни.

Мы ходили по городу. Медленно. С остановками. С воспоминаниями. Обычно про себя. Не все скажешь вслух.

Павлу Петровичу, вероятно, было что рассказать, значительно более интересное, чем мне. Так я думаю, хотя бы потому, что он вдруг останавливался перед какими-то малопривлекательными домами, разглядывал их, будто что-то вспоминая или проверяя.

Иногда я замечал, что ему хочется что-то рассказать, вспомнить, но он передумывал:

— Пошли дальше... Давно бы пора снести эту развалюху, а она еще стоит и мозолит глаза.

Я понимал Павла Петровича и не спрашивал, потому что и у меня были встречи, о которых не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать. Но были и счастливые. Таких оказывалось больше. Прекрасное здание педагогического факультета... Редакция газеты «Звезда»... Оперный театр, где я был впервые шестилетним... Козий загон, получивший более благозвучное название Набережного сада... Пристани, всегда и всем памятные встречами и расставаниями... Кафедральный собор, ставший музеем, уникальным музеем-хранилищем пермских деревянных культовых скульптур, главными из которых были Христы с обликами всех народностей Прикамья...

Воскресает и то, что, казалось, навсегда забылось. Откуда-то из-под спудья памяти возникают давным-давно недописанные интимные стихи и настойчиво звучат в темени, когда я стою у окна гостиницы «Центральная»:

Холодно за Камой —
Осень на носу.
Закружил нас с вами
Бес в родном лесу.

Леший озорует,
Манит в тихий лог,
Хохоча ворует
Тропки из-под ног...

Читаю Павлу Петровичу, думая развеселить его, а он не без грустинки:

— Вы думаете, я в ваши годы не писал стихи...

А в общем-то мы все трое решаем побывать на самой очаровательной реке Прикамья и Урала. Что может сравниться с первозданной красотой Вишеры. Разве только Чусовая, но она всего лишь конспект, миниатюрный этюд Вишеры. И все улыбается нашему желанию. Служебный пароход с полным обслуживанием, причаливание по желанию...

Чего же боле?.. Край легенд... Картинная галерея берегов.

А до этого решаемся побывать в юном чудо-городе нефти и бумаги — Краснокамске. Нефть здесь открыли после того, как построили бумажный комбинат. Об этом могла бы появиться веселая глава, рассказывающая о причудах уральской земли.

Павел Петрович ходил по улицам Краснокамска, поражаясь

и радуясь, как ребенок. На улицах города рядом с жилыми, ведомственными зданиями то и дело встречались нефтеносные скважины и «машины-качалки», сосущие из недр нефть.

В самом деле Краснокамск заслуживает особой главы о литературных встречах, которые, едва начавшись, оборвались. Павел Петрович неожиданно заболел...

Волшебная поездка по Вишере не состоялась.

Возвращаясь из пермских краев, Павел Петрович, не говоря прямо, проговаривался, что если бы, да кабы, да время, да большее знание края, аборигенами которого были коми-пермяки, хорошо бы приветить их фольклор, но без знания языка глубоко не копнешь. Хотелось Павлу Петровичу поклониться сказами и пермской нефти, и калийным солям, запасы которых все еще были не подсчитаны, и просто матушке пермской соли, в которой «ходили по уши пермяки» и которой чуть ли не половина России солила щи и каши.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАБОРЫ

Таборы, пожалуй, самый северный районный город Свердловской области. Туда мы собирались давно и наконец собрались.

Железнодорожного пути в Таборы нет. «Летом — веслом, а зимой — гужом». Мы отправились летом. До станции, города и реки одного и того же названия — Тавда — мы прибыли на поезде. Здесь заканчивалась железная дорога, которая должна была пройти на Тобольск.

На реке Тавде нам нужно было найти попутное суденышко в Таборы, а до этого перейти по сотне сплоченных цепями и скобами бревен, образующих запань, или ограждение для сплавленного из верховьев леса.

Павел Петрович хотя и был тверд ногами, но слаб глазами. Оступиться, шагнуть мимо бревна и очутиться в воде было делом вполне возможным. Поэтому мы распределили обязанности так: он взял на спину весь наш багаж, а я, освобожденный от заплечного груза, шел «передом». Как поводырь. Павел Петрович шел за мною шаг в шаг, по-солдатски подпуская ногу, положив обе руки на мои плечи.

Шли медленно. Очень медленно. Бревна запани были скользки и шаловливы. Дошли до желаемой цели.

Нас взяли на буксирный катерок «газоход», работавший на газе сгораемых в его «нутре» древесных чурочек. И было

бы все хорошо, если б он вел баржу полегче и чурки были березовыми, а не малотеплотворными сосновыми. Сначала ход катера не превышал против воды одного-полутора километров в час. Даже терпеливый Павел Петрович и тот сказал:

— Гужом-то в три-четыре раза скорее и пешком не тише...

Но где там пешком! Не километры страшат, а глухая дорога. Прибрежный лес и сама река Тавда меньше похожа на уральскую реку, какой можно назвать красавицу Исеть, чаровницу Чусовую и ее родную тетку, превосходящую очарованием Вишеру. А Тавда — это маленькая Обь. А ее притавдинский лес населен не только лешими да заманными вещерицами, но и поозорнее их живностью, менее фантастической, но достаточно неприятной.

Делать нечего. Ракет на воздушных подушках еще не было. Глиссера тоже не подадут. Команда нам уступила в носовом кубрике два места. Кроме нас, там оказались два пассажира. Секретарь Таборинского райкома по пропаганде А. С. Егоршин и очень приятная, тоже таборинская культпросветчица. Вахта была одна. Поэтому мы вечером становились к берегу вместе с баржой. На вторые сутки мы предложили нести вахту. У меня были права вождения катеров с командой до пяти человек.

Это устроило командира. Вместо одной вахты стало две. И мы с Павлом Петровичем оказались у «руля правления». Я вел суденышко, а Павел Петрович стоял на отмашке. И смех и грех.

Команды Павел Петрович исполнял неукоснительно. Давал сирену и добросовестно отмахивался при встрече с редкими судами белым флагом с борта, ему указанного.

Управлять суденышком, идущим с такой жалкой скоростью, не составило бы труда для любого и без прав. Никак в берег не воткнешься. К тому же прошли дожди, о каких-то мелях думать даже нечего.

Павел Петрович любовался Тавдой и просил меня обратить внимание, что отдельные участки реки похожи на заводские пруды. И впрямь — повернешь за яр, и перед тобой водная ширь. Как огромный пруд. Смотришь и не видишь выхода из этого пруда. Река будто кончилась. А потом, оказывается, опять мысок и снова поворот.

Тавда в самом деле чем-то напоминает Обь. Наверно, берегами. Но Павел Петрович толковал Урал расширительно. Уральская «крыша» просевших гор, по его убеждению, по во-

сточную сторону уходила под Омск, а по западную — под Казань.

И в этом тоже есть какая-то правда. Даже географическая. Если взять Каму в верхнем течении — ее берега то и дело волнуются далеко убежавшими сюда Уральскими отрогами. И здесь, на Тавде, встречались крутояры, горные берега, поросшие уральским, именно уральским синим лесом.

Так мы плыли трое суток. Раздобыв на одной из стоянок хорошее топливо, пошли быстрее. Как говорят на море, «выжали из машинки еще два узла», но съели колбасу в жестяных банках. Хлеба оставалось по куску. Павел Петрович к тому же решил подголадывать в мою пользу.

— Вы же штурвал крутите — рабочий класс. А я человек, служащий на легкой отмашной работе.

Такая любезность уже стала невыносимой. А до Таборов еще шестьдесят пять километров. А это, на худой конец, сутки.

— Вот что, — предложил Павел Петрович, — сейчас Кузнецовка будет. От нее берегом пятнадцать верст. Махнем на своих на двоих, это лучше, чем сутки по реке петлять. А может быть, и лошадь достанем...

Так и сделали.

Тут я позволю себе немножко пейзажа. Павел Петрович был очарован этой тихой ночью, когда дневная тварь убралась на покой, а ночная — выходила на охоту.

Лес. Темный, безмолвный. Густой. Рослый и немножечко страшный.

— Вам жутковато? — спросил Павел Петрович.— Мне малость жутковато. По-мальчишечьи, знаете, так...

На козлах сидела крупная молчаливая женщина. Она разговорилась только на полдороге. А разговорившись, уже не умолкала.

Луна еще оставалась летней, высокой. Справа от дороги чувствовалась близость реки. Тянуло влагой и теплом. В ночи можно было услышать и филина из «Серебряного копытца», и писк птицы, кем-то пойманной в гнезде.

Каким вы смельчаком ни будьте, а лес ночью страшен. Да особенно такой — населенный звуками, хрустами.

Когда луна осветила дорогу, Павел Петрович толкнул меня локтем:

— Гляньте, кто-то перебегает дорогу.

И я увидел длинное приземистое тело животного, показавшееся мне темно-коричневым.

Лошадь остановилась. Животное прижалось к земле. Замерло. Не рысь ли?

— Выдра! — сказал Павел Петрович.— Иначе и быть не может.

Я выскочил из коробка. Выдры бояться нечего. И побежал. Животное сделало бросок, и вскоре я услышал всплеск за деревьями.

— Определенно выдра!

Ну, конечно, тут начались разговоры... Вот бы ружье... Или бы, на худой конец, пистолет... Два бы воротника вышло... Или бы две шапки.

— Или бы пять-шесть шуб да три муфты,— продолжил Павел Петрович.

Так мы подъехали к Таборам. Темень. Нас встретили. Первый секретарь райкома пригласил:

— Павел Петрович, прошу по тротуарам вашего имени...

Оказывается, таборинцы обязались построить за три дня тротуары на главной улице в честь приезда дорогого гостя. Оказывается, нас ждали еще вчера и опасались уже — не наскочил ли наш катер на топляк. Топляк — это наполовину затонувшее бревно, коварно протаранивающее идущие вверх по реке суда.

Уже светало. Нас провели в столовую. Нам было выдано по три порции вторых. По шесть огромных котлет. Из них можно было одолеть одну. Не порцию, а котлету. Ну, и, само собой, с устатку тоже было выдано по две десятых... Этого мы на столе не оставили. А потом нас, не заводя в отведенную квартиру, любезно завели в баню. Порядок северного гостеприимства.

Павел Петрович, сидя на банном полке, восторгался:

— В разных банях приходилось мыться, а в такой никогда. Театр, а не баня. Воздух чистый. Просторно. Окно большое, а за окном пароходы ходят. Плоты плывут. Зрелище. Опишите, пожалуйста, в каких-нибудь своих записках эту северную просторную русскую баню.

Баня, без преувеличения, была прекрасна. Из банного окна открывался чарующий вид на реку. И мы просидели у окна час-полтора, так и не помывшись, потому что я утопил ковшик в котле с кипятком. Достать его оттуда было можно только по остывании воды. Мылись холодной водой.

Довольные, отдохнувшие, мы отправились в отведенный нам дом. Спать в этом доме не пришлось. По причине самой невероятной.

Школьники, еще накануне ожидавшие с букетами Павла Петровича, не дождавшись, буквально забили всю комнату охапками лесных и полевых цветов.

Они, увядая, пахли так резко и так дурманно, что не помогли и открытые окна. У Павла Петровича разболелась голова. И мы вышли вздремнуть в сенцы.

Вздремнуть не удалось. Часов в шесть послышался шепот:

— Где он? Походит на карточку? Может, проснулся уж...

Короче говоря, Павел Петрович поступил в распоряжение детей. Они висли на нем. Поочередно обнимали его. Поочередно угощали ягодами:

— Это, Павел Петрович, самая крупная-раскрупная... Скушайте мою.

Дети водили Павла Петровича по новым тротуарам, водили по новосаженому парку... И, наконец, парад. Школьный парад. Пионеры в белых рубашках и блузках. Галстуки отутюжены, как, наверно, никогда. Строй ровный. Вожатая как командарм на смотру.

Команда. Песня приветствия. Рапорты. Оглашение обязательств, которые в предстоящем году берут на себя школьники по случаю приезда знаменитого уральского писателя.

Павел Петрович стоял-стоял, моргал-моргал глазами, а потом вдруг не удержался, и по его щекам потекли крупные слезы... И я, глядя на него, всхлипнул...

И как-то эти слезы стали неизбежными, законными слезами человека на склоне лет.

Ведь ради и этих ребят большевик Бажов с 1918 года прошагал в несгибаемых рядах Коммунистической партии. Ради них, и этих ребят, он вырвался из белого плена, скрывался в Сибири, испытал горе и радости коммуниста-подпольщика, коммуниста-комиссара, коммуниста — журналиста и писателя.

А они, эти дети, не зная ничего, но веря ему, бесконечно любя его, теперь здесь, в далеких Таборах, устраивают для него пионерский парад, засыпают его комнату цветами, строят тротуары и не сводят с него, впервые видимого ими живого писателя, своих жарких ребячьих глаз.

— Напишите книгу «Хрустальный дворец»! — предлагает одна школьница.

— Хорошо, милая моя,— отвечает Бажов,— постараюсь, обязательно напишу. Только за название не ручаюсь...

И мне для приличия поручают написать что-то такое, пришедшее им на ум, по подсказке любезной госпожи Вежливости.

И я, как видите, спустя почти тридцать лет не забыл пионерского поручения и «что-то такое» пишу о них, у которых теперь подросли свои пионеры.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ТАБОРАХ

Литературные вечера в больших городах не всегда проходят, как говорят театральные администраторы, с аншлагом. А здесь — заняты даже подоконники. Даже открыты окна, а за окнами на принесенных из дому скамьях и столах стоят люди.

Здесь Павел Петрович дома. Он даже не притрагивается к рукописи. Он читает по памяти. Ему нечего бояться ошибиться, пропустить строку. Он «сказывает сказы», а не читает их.

Таким я его видел только дважды: в Таборах и на платиновом руднике «Красный Урал».

Каждое слово — всхожее семя. Язык «Малахитовой шкатулки» — это их, не «стилизованный», а родной язык, полученный с молоком матери, язык их дедов, язык их обихода.

Буря аплодисментов! Вопль и стон радости, когда победа оказывается за героем сказа, когда добро торжествует над злом.

Выступающий воспламеняет аудиторию. Аудитория взаимно воспламеняет выступающего. Когда этот контакт в Таборах достиг накала свечения, я увидел Бажова страстным, темпераментным мастером чтения (точнее, «сказывания»). У старика блестят глаза. В голосе гневные, трагические или, наоборот, мягкие, певучие нотки.

— Отвел душеньку,— сказал Павел Петрович, когда кончился нескончаемый, многочасовой литературный вечер, начавшийся после полудня.

Из Таборов я увез уверенность в том, что Павел Петрович «еще не развернулся». Эта уверенность не покидает меня и теперь. «Не развернулся он во весь голос, уйдя от нас».

В Таборы за Павлом Петровичем зашел быстроходный катер. Он был тоже завален букетами провожающих.

Сравнительно высокий таборинский берег был усеян детьми и взрослыми, пестро и празднично одетыми. Берег махал платками, косынками, войлочными шляпами, флажками до тех пор, пока катер, увозивший Павла Петровича, не скрылся за поворотом.

Таборы были серьезной проверкой популярности на «глубинном» слушателе сказов Павла Петровича и неподдельной

любви к нему читателей. Поэтому я и позволил себе несколько затянуть этот рассказ о таборинском путешествии.

Потом Таборы вспоминались Павлом Петровичем часто и подробно.

В Таборах я был свидетелем собирания и накопления Бажовым тех особенностей в языке, укладе жизни, быте, которые свойственны городкам, живущим рядом со Свердловском, но на отшибе.

ДОРОЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

Павел Петрович никогда не переставал быть наблюдательным аналитиком и очень третьестепенного, зная, что в пестром потоке увиденного могут оказаться золотые крупицы впрок.

Извлечение из дорожного письма, которое я сейчас впишу отдельной главкой, представляет собою цепь эпизодов и вагонных встреч. Из них, может быть, Павлу Петровичу или кому-то другому могло быть полезным несколько строк, но я привожу почти все, хотя бы для того, чтобы читающий знал, как много строк предшествует у писателя трем — пяти строчкам в его беловой рукописи.

«Обратный путь до Свердловска мы с Вал. Ал. проделали не без луку и удовольствия, т. е. купили в Канаше луку и не очень томились дорожной скукой. Нашим визави по купе оказался военный человек в просторной цигейке... Скромный, вежливый, предупредительный и в меру разговорчивый. Ездил в Москву к матери, теперь возвращается после отпуска к месту постоянной работы в Свердловск. Четвертой оказалась тагильская москвичка или наоборот. Тоже ездила в Москву на время отпуска и тоже к матери, но у нее была и специальная цель: показать бабушке внука-полугодовика и уговорить старуху переехать в Тагил. Уговорить не удалось, и старуха, стоя у окна вагона (кондукторша никого из провожающих не пускала в вагон), горько плакала, провожая дочь и внука в «далекий Тагил». Этой тагильско-московской женщине досталось верхнее место, но капитан, конечно, уступил ей свое нижнее. От семимесячного пассажира, разумеется, было кисловато в воздухе, но ведь недаром сложилось еврейское присловье: «Держи козу в доме, и будешь испытывать двойную радость, когда уходишь». Правду же говоря, ребенок оказался здоровенький и спокойный, больше спал, а в перерывах забавлял своим гуканьем и ребячьими движениями. С капитаном можно было говорить на любую тему, а женщина была интересна, как

тип современного приживания к Уралу. Она еще тянется к Москве, но уже взвешивает: там мужу на переезды да перебежки не меньше 4 часов в день понадобится, да и ей, пожалуй, не меньше. Терять шестую часть коротенькой человеческой жизни на ежедневное передвижение не хочется, и возможно, что победит Тагил, где «все под руками»...

...В соседнем купе оказались два энских генерала, одна энская же генеральша и молодой человек, что-то среднее между руководителем танцев на семейных вечерах и чиновником особых поручений. Вначале он со мной разговаривал и даже кой-что пояснял, но потом, увидев значок или услышав от кого-нибудь о моем депутатском звании, пропитался почтительностью настолько, что это уже стало противно...

...Был в вагоне и хищный тип — какая-то ...ская дама, которая, видимо, хорошо изучила торговый профиль дороги. Она не пропускала ни одной «продажной остановки», тащила с Куровской чулочный брак, с Гуся Хрустального— стеклянный брак, лук мешком, яйца корзинами, масло, рыбу, жареную и сырую. Словом, склад сельпо на колесах, только без кладовщика: ни украсть, ни разбазарить некому. Жалею, что не посмотрел, как эта дама высаживалась. Вероятно, и эта часть у нее организована. Хозяйственная, я Вам скажу, дамочка, и под суд ее не сдадут: статей подходящих нет.

Самыми занимательными спутниками оказались двое ребят: девочка Ксаночкина возраста и ее братишка — постарше. Девочка застенчива и имеет блеклый, болезненный вид. Мальчуган здоров и жизнерадостен. Вид у него самый разрассейский: круглолиц, курнос, вихраст, веснушчат, с веселыми глазенками. На фуражке у него какая-то необычная красная звезда из целлулоида с золоченой каемкой. Спрашиваю: «Что за форма?» Отвечает этак небрежненько, с желанием удивить: «А это мне там сделали... в Германии... в Берлине...» — «Ты оттуда едешь?» — «Откуда же больше? Полгода там прожил, да не понравилось нам. В Красноуфимске лучше. Известно, домашнее дело...»

...Ведь парнишка-то станет ребятам в Красноуфимске такое рассказывать, что ах ты ну. И возражения будут соответственно, и драка, может быть, и вообще сюжетец комедийного порядка для детских театров. Вас не соблазняет? Напрасно. Темка не захватанная, и там, кроме забавного, много может быть и серьезного.

Ну, хватит. Не все же вагонные впечатления перебирать. Их у каждого пишущего воз...»

И ЕЩЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПИСЬМО

«...Вагон, в связи, видимо, с особым своим положением, шел довольно свободным. Мы с Ридочкой, например, первое время долго ехали вдвоем в четырехместном купе. На ст. Чарусти нам в вагон подсадили девушек-чувашек, которые едут в двухмесячный отпуск с торфяных работ к себе на родину — Канаш. Это лучшая бригада. Их премировали каждую 150 метрами мануфактуры, 3000 руб. деньгами и решили отправить домой в «мягком». В вагоне между тем преобладает публика, привыкшая к передвижению в международных. Немало да́м в ранге... В результате ситуация комедийная. Новые пассажирки своими лаптями и очень уж по-теплому обернутыми ногами, преувеличенно широкими и густо-цветастыми юбками койкого испугали. Начались комбинации по переселению из одного купе в другое. Разумеется, с соблюдением декорума. Представляете? Один только какой-то в очень заношенной паре, но с двумя ленточками был отвратительно откровенным. Мы с Ридченой на комбинации не пошли и не раскаялись. С нами поместились две Зои, одна Петрова, другая Кайгашева. Очень милые, скромные девушки. Обе кончили семилетку, уже два сезона проработали на торфянике. Выполняют норму до 200 процентов. Мешает им трехязычие. Чувашам ведь приходится, кроме русского, знать и татарский, а в результате по-русски говорят неважно и об этом обе сами жалеют. На вопрос о сказках говорят: «Нет лучше тех, какие сочинил Александр Сергеевич Пушкин». И надо видеть, с каким уважением, даже обожанием и теплым блеском в глазах произносилось это великое имя. Стыдно стало за многих из публики международного вагона. Девушки, вероятно, и физически содержат себя гораздо чище многих горожан, но лапти! Между прочим (деталь для драматургов), обе девушки в белых свитерах и белых же передниках. Все это не ахти как тонко, но, безусловно, чисто, а мы, горожане, не можем это даже сразу заметить и оценить, что значит белая одежда на торфяных работах».

* * *

Из каждой поездки, начиная с юношеских, Павел Петрович возвращался хотя бы чем-то обогащенным.



В ИСКУССТВЕ И ОБ ИСКУССТВЕ



начительные литературные произведения почти никогда не живут вне других видов искусств, перевоплощаясь в них, они получают новое звучание. Иногда лучшее, а иногда и худшее, но случается, что создается и совершенно самостоятельное произведение по мотивам рассказа, повести, романа или даже драмы. Особенно это относится к искусству кинематографическому, которое не всегда по прихоти сценариста или режиссера, а по своим «видовым» особенностям и законам построения фильма иногда очень далеко уходит от литературного первоисточника.

Первое перевоплощение литературного произведения в смежное искусство почти всегда бывает в рисунке, в скульптуре. Это проще, скорее и общедоступнее. В карандаше, в краске, в глине оживают те из героев, которые произвели наибольшее впечатление.

По рисункам, особенно детским, наилучшим образом можно судить, что удалось писателю, что произвело лучшее впечатление и какое именно, что понятно читающим и как понятно.

В СКУЛЬПТУРЕ, ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

«Малахитовая шкатулка» тотчас же по выходе в свет нашла свое изобразительное перевоплощение. Первыми ею занялись дети. Я видел самые неожиданные решения в детских рисунках героев сказов Павла Петровича. На Урале можно было устроить тематическую выставку: «Малахитовая шкатулка» в рисунках и скульптуре детей». Моя старшая дочь не была исключением. Она лепила персонажей сказов из глины. Она не расставалась с ними, став на путь профессионального скульптора, создав фарфоровые цветные фигуры. Это окрашенная кобальтом и расцвеченная золотом Медной горы Хозяйка на малахитовом ларце. Ее длинное платье, отороченное по кромке подола золотистыми кружевами, «расцвело» Каменным цветком.

Медной горы Хозяйка, Малахитница, и сопутствующие ей вскоре стали объектами скульптурных работ многих фарфористов, и особенно известна небольшая фигурка осиротевшей дочери Степана Танюши с зеркалом, наряженной в «подаренье» Малахитницы. Это изделие, созданное по какой-то из книжных иллюстраций, получило наиболее широкое распространение.

Первое печатное графическое изображение сказовых сюжетов Бажова принадлежит художнику А. Кудрину. Это иллюстрации в первом издании книги «Малахитовая шкатулка».

Особое очарование этих рисунков, кроме скупой простоты изображения,— это доподлинный, я бы сказал, «этнографический аромат». А. Кудрин знает объекты своих иллюстраций: природу, лица, одежду, предметы обихода... И если кое-где чувствуется легкий налет «Берендеева царства», то это так скользяще и малозаметно, что можно бы об этом не говорить.

Силуэтные черные заставки и концовки Кудрина до того ювелирно ажурны, что их сюжеты, уместившиеся на площади, равной спичечной коробке, поражают умением показать так много на малом пространстве.

Бажов не был обижен художниками наших республик, ближних и далеких стран. У нас его иллюстрировали многие. Среди них назову тех, чьи рисунки я знаю: В. Кузнецов, А. Якобсон, В. Таубер, М. Успенская, В. Баюскин, О. Коровин. О нем особо. Потому что это особый художник. Он уралец не только по паспорту, но и по своему духу.

Как-то разговорившись с Павлом Петровичем о рисунках, я спросил его:

— Как вы смотрите на то, что в разных странах «малахитовое население» книги рисуется по образу и подобию коренного населения данной страны?

Бажов сказал что-то вроде:

— Если уж Христа в нашей уральской деревянной церковной скульптуре изображали то русоватым марийцем, то белокурым пермяком, то смолевым монголом, моим-то уж сказовым людям вовсе не запретно в Индии быть индийцами, в Японии японцами. Даже как-то лучше. Понятнее. Если Малахитница, скажем, в Бирме по-бирмански говорит, как ей на картинке уральской выглядеть?..

Потом, подумав, Павел Петрович говорит:

— Я никогда в художнические дела не вмешиваюсь, не корректирую. Кто как видит, тот так и видит. Художнику не следует насылать свое видение. Испортишь картину. Я только один раз сделал замечание, когда нашего общего знакомого горного козлика с серебряным копытцем нарисовали городским козлом из пожарной части, который афишами питается... Этого не заметить было нельзя. Недобросовестно подставлять под удар художника.

Давно известно, что о вкусах не спорят, но также известно, что нет запрета пропагандировать свой вкус. Так вот, на мой вкус, иллюстрации Олега Коровина впечатляют больше всех остальных.

Олег Дмитриевич Коровин написал, именно написал свои рисунки так, будто они стали уменьшенными холстами картин, пришедшими в книгу из Третьяковской или какой-то очень требовательной галереи. Каждая из коровинских иллюстраций-картин образно раскрывает и дополняет бажовский сказ и смотрится как самостоятельное произведение станковой живописи. Говорят, это плохой комплимент. Говорят, что у книжных иллюстраций свои графические законы.

О почерках и стилях, наверное, не спорят, но, не споря, предпочитают то, что впечатляет, радует и позволяет кисти художника называться соавтором писательского пера.

Именно таковы рисунки О. Коровина. Они вводят в зримый мир, в котором происходит действие литературного произведения. Они дополняют произведение теми деталями, которых нет в его строках, но есть за строками и меж ними. Они показывают характер, социальную принадлежность, национальные особенности и, позволю себе выразиться, все анкетные данные действующего лица.

Иллюстрации Олега Коровина не сосуществуют с книгой,

не живут в ней формально поселенными на ее площади, а образуют органическую взаимопомощь сказа и рисунка, смысловую, художественную, сюжетную и всякую другую взаимодополняемость.

В этом смысле Олег Коровин и в данной книге о Павле Петровиче тоже не ее чужеродное дополнение, а одно из ее сказуемых.

Жаль, что в черно-белой книжке нельзя репродуцировать хоть бы одну цветную иллюстрацию земляка и почитателя таланта Павла Петровича. Рисунки О. Коровина не только смотрятся, но и рассматриваются.

Сказы дали материал и сюжеты для многих картин. И если бы я обладал склонностью к исследованиям и поискам, кто и что создал в изобразительном искусстве по мотивам сказов, то и тогда бы я, наверно, мог назвать только частицу из множества произведений живописи, скульптуры, чеканки, литья, гравирования, резьбы по дереву и т. д.

Павел Петрович поражался обилию «разночтений» его сказов в искусстве и обычно благодарил творцов, проявивших внимание к его творчеству. Но...

Но далеко не все из этого нравилось Бажову. Как я заметил, его привлекало реалистическое искусство. Портретов Павла Петровича было сделано тьма. Самых различнейших. И, насколько я помню, он говорил добрые слова о двух из них: о карандашном портрете художника Яра-Кравченко и о портрете Ю. Р. Бершадского, писавшемся при мне в Свердловске. Мне и самому нравился этот портрет.

Художник был очень стар. Он мелкими шаркающими шажками с трудом добирался от своей квартиры до Чапаева, 11.

Руки его были уже не тверды, но, взявши кисть, они писали уверенно, хотя и очень долго. Бездна сеансов. Павел Петрович уставал позировать.

— Когда только отмаюсь,— говорил он мне и добавлял: — Хотя и не малая пытка сидеть на стуле без дела, зато видишь, что все это не зря. И если кому-то понадобится когда-то моя личность, то, я думаю, предпочтут этот холст...

Его суждения о портретных скульптурах мне слышать не приходилось, может быть, потому, что профессионально сделанные скульптуры появились потом. Когда уже не было Павла Петровича. По роду моих общественных поручений мне приходилось участвовать в комиссиях по оценке этих скульптур. Одну из них, для памятника на плотине в Свердловске, делал знаменитый скульптор Манизер. Я в его мастерской бывал

много раз. Он даже подарил мне за усердие подписной эскиз задуманного бюста-памятника. И каждый раз мне казалось, что чего-то не хватает. То же происходило и в мастерской другого скульптора — Голубкиной.

Мне говорили, что я не понимаю и не представляю особенностей монументальной скульптуры, отличающейся от так называемой «камерной». Может быть, я в самом деле не понимал, но мне почему-то кажется, что когда скульптурный или какой-то другой портрет делают не с натуры, а по фотографиям, то получается как бы копия с копии, и от этого не по вине скульптора что-то теряется, что-то не улавливается, что-то привносится.

Прошли годы и годы. Скульптуры Манизера и Голубкиной, став памятниками, проверились временем и многими тысячами глаз, в том числе и моими глазами. Я не думаю, что под влиянием всеобщего признания и одобрения мемориальных скульптур я отказался от своих прежних критериев. Мне кажется, это произошло само собой. Я понял то, что нельзя было не понять и что можно было и нужно было осознать тогда.

Фотографический аппарат запечатлевает миг. Запечатлевает более удачно или менее удачно, но данный миг. Всегда ли этот миг является наилучшим отображением натуры, ее характера, ее внутреннего мира и всего того, что в совокупности является наиболее характерным для скульптурного произведения, создаваемого для всех и на многие годы.

Я пересматриваю десятки и сотни фотографических портретов и просто снимков Павла Петровича. Каждый из них мне дорог и знаком. Одно и то же лицо, и между тем нет на них двух одинаковых лиц. Более того, я не нахожу портрета, который мог бы назвать предпочтительным.

Это меня лишний раз убеждает, какую огромную работу преодолевает скульптор, чтобы сотни мигов перевоплотить в единый скульптурный портрет... Монументальный, а не экспромтный, хотя последний нередко бывает на первый взгляд обольстительным и приглядным. Рассуждая так, я невольно вспоминаю, как подтверждение к сказанному, опасение Павла Петровича за свои «удачливые скороделки». Он всегда давал «вылежаться и устояться» рожденному им экспромтно.

А теперь о театре.

„СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ“

После некоторого успеха спектакля «Ермаковы лебеди» в свердловском ТЮЗе я воспламенился желанием написать что-то еще по мотивам сказов Павла Петровича. Грезилась «Малахитовая шкатулка» в белых стихах, поставленная в Москве в обычном театре, а не в детском... Стихотворная «шкатулка», говорю я, ориентируя теперь на нее кого-то из поэтов, читающего эти строки, сразу бы поставила все на место, и сам стихотворный текст подсказал бы сказочное решение спектакля.

Мечты остались мечтами. «Малахитовая шкатулка» все еще не увидела большой сцены, но, несомненно, увидит ее. Она же «каменная» — и не поддается ни ржавчине, ни тлену, ни времени, ни перемене «театральных ветров».

Поставят!

Пока же Павел Петрович твердил мне, что его сказ «Серебряное копытце» самый «драматургический». А я этого не видел. Да и вся сказка умещается на восьми машинописных страничках. Правда, ее преимущество в том, что это не сказ, а откровенная сказка и в ней много поводов, развив которые можно получить эффектный спектакль для самых маленьких. Например, что сто́ит волшебное копытце, ступив которым, козлик зажигает самоцвет. Сиречь — в театре — электрическую лампочку. На сцене можно столько зажечь огней, что будут аплодировать осветителю. Очень интересна судьба девочки Дарёнки, подаренной бобылю-старику Коковане, которого можно сыграть похожим на Павла Петровича, не только характером, но и внешне.

Козел тоже может быть ролью, если ему придумать «биографию». Допустим, он был мальчиком, позарившимся на самоцветы, добытые старателями, и за это вещий Филин «обхохотал» мальчика в козлика с серебряным копытцем, «натопывающего» множество драгоценных светящихся камней, которыми он, увы, не может воспользоваться.

Я рассказываю об этом Павлу Петровичу, а он распаляет меня:

— А кошка Муренка разве не роль, особенно если ей дать в лапы балалайку?

— Но ведь у вас-то этого, Павел Петрович, в сказе нет!

— Мало ли чего у меня нет,— в театре будет. Филин тоже может быть зрелищным, если зажечь ему глазищи-фары желтым огнем.

— Да, конечно, Павел Петрович,— соглашаюсь я.— Филин

может и злую тетку, у которой жила сиротка, обхохотать в волчиху.

— А где волчиха, там и лиса...

— А где лиса,— продолжаю я,— там и медведь. Такой, знаете, простак-добряк из земской управы. Либерал в мундире с золотыми пуговицами.

— Ну, вот и получилась отрицательная плеяда комедии-сказки. Теперь дело остается совсем за малым — сесть и написать.

Так говорил Павел Петрович, а может быть, говорил и не так, но в этом веселом ключе, потому что на душе у нас было весело и на столе, за которым мы сидели, тоже — не скучно.

Я сразу же по возвращении в свой 153-й номер гостиницы принялся сочинять комедию. Я писал ее и на другой и на третий день, писал до тех пор, пока она мне не стала в тягость. Написанное показал Павлу Петровичу, чтобы он приложил свою руку. И он приложил.

Начав старательно править комедию, Павел Петрович увидел повторение конфликта сказового языка и языка драматургического. Пройдясь пером по пяти-шести страницам, он сказал:

— Не умею и не хочу ходить по канату...

Впоследствии это же самое он повторял в письмах.

Комедия для маленьких требовала коротких реплик, неожиданностей, переодеваний, неузнаваний и узнаваний, музыки, песен, танцев, слитных с сюжетом или вытекающих из него. Я устал от этой самой трудоемкой драматургии для детей. Да и куда-то послали по заданию Информбюро.

Пьеса осталась недописанной, а потом несколько лет спустя, разбирая в Москве свердловские рукописи, я перечитал «Серебряное копытце», затем несколько раз переписал и отдал в журнал «Затейник».

Павел Петрович, находя, что пьеса написана мною (это так и было), не захотел значиться соавтором и оставил свою фамилию как автора одноименной сказки, по которой написана комедия.

В конце апреля 1956 года состоялась премьера комедии-сказки, и с тех пор по сей день милый козлик своим серебряным копытцем продолжает то в одном, то в другом, то в детском, то во взрослом театре выбивать драгоценные многоцветные камушки, славя Павла Петровича, который хотел, чтобы этот козлик жил не только в его книге, но и на сцене, но и в

кинематографе. До последнего он пока еще не доскакал, но доскачет.

Долговековой животинкой оказался этот козлик. Доскачет. Доживет...

В МУЗЫКЕ И БАЛЕТЕ

Начиная с постановок «Малахитовой шкатулки», «Ермаковых лебедей», Павел Петрович втягивается в театр. Это было трудное для него время осложнения со зрением. Но Павел Петрович всегда был жизнерадостным человеком, даже после необнадеживающего визита к профессору Страхову.

Вот что пишет он после возвращения из Москвы в Свердловск:

«...Все-таки надо быть снисходительнее. Ведь Вы же единственный свидетель визита к профессору Страхову и лучше всех должны понять мое состояние. Как-никак переход от зрячего положения к слепоте — это вам не щелчок или даже незаслуженный удар по творческой линии, а гораздо хуже. Понятно, что приехал домой в угнетенном состоянии. Доходило даже до того, что часами сидел с закрытыми глазами — приучал себя к этому неизбежному состоянию. Ничего, разумеется, не писал. Было как-то неприятно видеть строку, которую ты можешь разобрать лишь через лупу. Теперь это в какой-то степени ослабело. Оптический завод устроил мне нечто (неразборчиво) рецептов окулистов, и я могу, хотя и с быстрым утомлением, разбирать даже петит. Другое дело — надолго ли это».

И в этом же письме, не прерывая строки, он сам останавливает себя. Жизнелюбивое начало побеждает уныние. Это настойчивое жизнелюбие, нежелание лишиться зрения, может быть, и победило слепоту. «Никто еще не знает, какие лекарства сильнее», — сказал как-то Павел Петрович, разговаривая о Мересьеве — герое повести Полевого.

Вот строки из этого же прерванного письма:

«Но тут лучше не продолжать, чтоб не попасть на «стезю уныния». Хватит и того, что было. Все свои дела запустил. Челябгиз, не получая ответа в течение нескольких месяцев, замалчивает об издании, а ведь 20 листов не шутка. Кинофаб-

рика шпыняет по поводу сценария «Ермаковы лебеди». Думаю, что ничего путного у меня не выйдет, но по пьесе киношники не хотят. Между прочим, возражают против Грозного. Говорят, что теперь, после выхода в свет работ А. Н. Толстого и Костылева, Грозный вскоре пойдет на экран и неизбежен повтор либо расхождение.

...Балет «Каменный цветок» в нашем театре прошел два раза. Считают, что успешно, но для меня это сплошной удар — не ходил на репетиции и не вмешался там, где можно было исправить, а теперь уж это стало почти невозможным. Боюсь, может получиться то же, что с пьесой «Малахитовая шкатулка»: на месте она даже нравилась, была поставлена свыше 200 раз, имелось несколько альбомов с самыми лестными отзывами, а как вышла за пределы области, так ее и раздели догола — снижение образа, примитивность сценического построения и т. д. А в балете ведь еще окажется возможность говорить разные маловразумительные слова о мажорных и минорных гаммах, о свисании плеч, о мягком носке и твердой пятке. Попробуйте — разберитесь! А вообще-то не очень высок театральный потолок. Не то выходит, что хотелось бы видеть. Или тут большое (неразборчиво) пред установившимися канонами? Но есть многое, что меня обрадовало и немножко даже удивило,— это возможность при переходе от быта к фантастике и от фантастики к быту смело менять краски. Причем даже у очень равнодушного художника это оказывается действенным, а если это сделать с горением, так может получиться вовсе по-хорошему. Пока договорились — улучшать и улучшать, опасаемся, что внешний успех может успокоить театральное руководство. Там ведь, как известно, своя мерка: хлопают — хорошо, перестали — пора снимать».

* * *

В Свердловске лишь начинался Бажов в музыке и балете.

В Большом театре Союза ССР цветение сказов Павла Петровича было уже всесоюзным, а затем стало и мировым. Как много значит большой композитор! С. Прокофьев не переложил, не пересказал в музыке Бажова, а ввел его в музыку, как его соавтор, звучащий одновременно и вместе с ним и самостоятельно без него.

Так в свое время сделал художник Олег Коровин. Помните, я говорил о взаимодействии, взаимопомощи литературного произведения и произведения изобразительного искусства.

Примерно аналогичное произошло в творческом содружестве Бажова и Прокофьева.

Конечно, я преломляю все через свои глаза, через себя и дивлюсь, как бывает на земле.

Я знал Прокофьева, одно время ежесубботне появляющегося в клубе писателей на улице Воровского. Там случались семейные вечера. Прокофьев в обществе драматурга Александра Афиногенова проводил здесь часы досуга, танцевал, шутил, рассказывал о своей работе.

В Свердловске жил своей жизнью Бажов. Жизнью, далекой от жизни Прокофьева. И ничто не соединяло их. И если бы кто-то сказал тогда, что их соединит музыка, то это бы прозвучало... Да никак бы это не прозвучало. А теперь...

Теперь это произошло как норма, как — «иначе и не могло быть». Хочется найти этому какой-то зримый образ.

Деревья так часто использовались для самых различных аллегорий. Видимо, они наиболее «аллегориедейственны». И мне представляется... Растут два далеко находящихся друг от друга дерева. Растут и растут. И когда они становятся больше, оказываются ближе друг к другу. Когда же они становятся очень большими, то их кроны смыкаются и кажется, что они растут вместе.

Плохо выражено, но правильно задумано.

То же и искусство хореографии — балет. Думал ли Павел Петрович, работая над сказами, что они послужат основанием для балета. А они послужили. И закон тот же.

Хочется надеяться, что и в драматическом театре, а до этого в драматургии, найдутся близкие и равные по силе таланта соавторы пьесы и спектакля «Малахитовая шкатулка», как нашлись они в музыке и балете.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ О ПЕСНЯХ

Ни одна область искусства не была чужда Павлу Петровичу. Для многих, в том числе изучающих жизнь и творчество Бажова, может стать неожиданным письмо-рецензия на одну из программ, предназначаемых для ансамбля песни и пляски.

Мне кажется, не бесполезно знать суждения Бажова о жанре песни, жанре давнем, жанре народном и любимом.

Позвольте на эту тему предоставить слово Павлу Петровичу. Как знать, может быть, написанное им не просто и не только «рецензия».

* * *

«Прочитал Вашу работу для ансамбля песни и пляски... Вы знаете, что я не принадлежу к числу больших приверженцев обычных программ таких ансамблей. Уж очень эти программы отдают замшелым, залежавшимся, какой-то нарочитой стандартизацией: для начала что-нибудь актуально-торжественное, потом нечто «от народных песен» (обязательно в композиторской обработке), два-три номера «поднародных романсов» (для показа солистов), для веселости вставляется до костей обглоданный «Вася-Василечек», либо частушечные перекоры («Подружка моя, я тебя уважу»). В эту окрошку всовываются танцы тоже почем зря. В результате человек, просидевший вечер, не получит ничего цельного. А скука-то какая! Ведь это разве большие знатоки могут слушать одну программу сотни раз, а нашему брату, среднему слушателю, и десяток не выдержать. Новизна и оригинальность программы для подобных коллективов — первое условие успеха. Вспоминаются песенно-музыкальные коллективы прошлого. Каждый из них запомнился цельностью своей программы. Торжественный тон старорусской песни Агренева-Славянского, неожиданное звучание оркестра народных инструментов Андреева, тончайшая передача русской песенной интонации Пятницкого, щегольская отделка деталей Дегилева, мрачный колорит «Песен каторги» Гартвельда, «ходовые песни» Городцова, где хор группой и в рассыпанном среди публики виде был лишь направляющим массовое пение, и т. д. Хоры и ансамбли со смешанной программой, вроде той, что стала обычной в современности, не задерживались в памяти.

Еще раз оговариваюсь: может быть, я мало слышал, но то, что удавалось услышать, было каким-то вовсе дешевым изданием хоров...

С этой стороны Ваша работа мне кажется чрезвычайно интересной, как попытка дать определенное лицо если не ансамблю, то его отдельным выступлениям. Разумеется, подать всю историю горнозаводского дела на Урале в течение вечера нет возможности, но отдельные этапы истории, на мой взгляд, выбраны удачно. Очень хорошо, что начали с походов Ермака, а не с Татищева и Генина. Что ни говорите, а народная колонизация Урала началась именно с этих походов, которые, бесспорно, явились началом и тех «мужицких заводов», которые существовали здесь в допетровскую пору. Правда, это недостаточно исследовано и популяризировано в исторической ли-

тературе, но ведь не порок, если Вы идете не по проторенной дороге, но верного направления.

Так даже лучше.

Эта часть работы показалась мне и самой богатой. Остальное дано гораздо скупее, и местами хотелось бы это расширить. В частности, мне кажется, надо бы в этапе крепостничества обязательно ввести полностью песню барнаульских горнорабочих, которая у нас считается первым образцом стихового творчества рабочих, попавшим в печать. Там неважный словесный материал, но ведь песня делается главным образом композитором, а ему этот обветшалый текст дает возможность более легкого переключения в мелодии XVIII века. Из пугачевского времени надо бы что-то подыскать. Неплохо бы также заглянуть в Киршу Данилова. У меня нет под руками этого сборника, но, помнится, там есть на эту тему. Причем лучше взять второе, более полное издание (1918 г.). Привлекают своими мелодиями и «песни каторги», о которых упоминал выше.

Такой сбор «с разных цветов» мне кажется выгодным и потому, что облегчает композитору возможность разнообразить мелодии.

...Можно говорить о неполноте отражения жизни Урала за период Советской власти, но это уж будет просто пустой разговор, т. е. всякому ясно, что сделать это невозможно: слишком огромен материал, чтобы показать его такими средствами, как песня и пляска. Тут уж ничего не поделаешь. Да и все это не мешает признать работу тем удачным шагом, которому надо всемерно содействовать, т. к. именно в этой организации тематических концертов — спасение от надоевшей «сборной»...

...Вот, пожалуй, и все, что могу сказать по этому вопросу. Не судите: мало сведущ в работе этого рода.
7.2-47 г.».

До всего доходили руки Павла Петровича. Живя в искусстве и литературе, он не переставал жить в исторической краевой науке, и критике, и публицистике.

Об этом наша очередная тетрадь.

ТЕТРАДЬ ДЕСЯТАЯ



КРИТИК, ИСТОРИК, ПУБЛИЦИСТ

Человек не бывает талантлив односторонне. Бажов был одарен многогранно и щедро.

Примем на веру сказанное и проверим написанным рукой Павла Петровича.

ВЫСШАЯ ФОРМА

Вот что пишет Бажов о поэте Н., нашем общем знакомом.

«...Нормально желать, чтоб среди молодых поэтов готовились те, которые бы смогли перешагнуть Брюсова — Блока — Маяковского при всей их внешней и внутренней разнице. Нельзя забывать, что индусский поэт Рабиндранат Тагор знал наизусть всего нашего Пушкина. (Если это даже выдумка, стоит ей поверить.) Маяковский жаловался, что не может выкинуть из памяти всего Надсона, который ни на черта ему не нужен. Бальмонт владел стиховой культурой всех европейских народов, об эрудиции Брюсова рассказывают чудеса.

Вот когда все это вспомнишь, не очень доверчиво начинаешь относиться к нашей четверговой старательности и лите-

ратурным разговорам, которые никогда не заменят большую и основательную учебу. Н.— работящий парень, но в нем все-таки держится какая-то отрыжка ударничества в литературе со ставкой на талант, «внутреннюю теплоту», «глубокую взволнованность» и прочие туманности. Кроме того, он уже maitre á danser среди тех простодушных людей, которые говорили, что свойственная каждому в известном возрасте склонность к созвучиям является чуть ли не основным фактором поэзии. Это, разумеется, мешает ему, толкает его на обычную дорогу «отбирания строчек», «счастливых находок», когда для растущего поэта нужно проникновение в эпоху и высшая форма стиховой культуры, которая достигается лишь путем длительной и систематической работы».

* * *

«Сожалею, но в стихах не разбираюсь»,— говаривал Павел Петрович, когда его просили сказать мнение о тех или иных поэтических произведениях.

По письму Бажова, где идет речь о стихах, можно подвергнуть сомнению его собственное утверждение.

* * *

Из письма А. В.

«Я не поэт, поэтому считаю себя не вправе давать оценку стихотворным работам, особенно начинающих. Вы, бесспорно, чувствуете ритм и умеете рифмовать. Правда, иногда ради складности Вы жертвуете смыслом...

...При известном навыке можно изложить стихами любую статью, но от этого она ни поэмой, ни элегией не станет, а будет рифмованной прозой, которая хуже обычной прозы. Поэзия начинается там, где поэт проносит свежий образ, которого еще никто не давал».

* * *

Вот еще прямой, нелицеприятный ответ пишущему стихи, имя которого тоже уместнее не называть, так как и это письмо, мне кажется, написано не ему одному.

«...Должен откровенно сказать, что мнение создалось отрицательное. Стихи еще на такой ступени мастерства, что хочется предупредить: поэзия — высшая форма литературы и

браться за нее, не овладев вершинами общей культуры, рискованно, а особенно в нашей стране, которая по грамотности вышла на первое место в мире. Нельзя представить, чтобы поэт Советской страны был ниже по образованию своего среднего читателя. Отсюда вывод: надо всерьез учиться, а то у Вас в письме заметны нелады с построением речи и даже орфографией. Это уже вовсе недопустимо для поэта, который в совершенстве должен владеть речью...»

* * *

И прежде и теперь встречаются начинающие и уже начавшиеся писатели, которые считают вовсе не обязательным для профессии писателя, для сочиняющего вообще глубокое образование. Рассуждая так, они приводят в доказательство примеры, называя имена прославленных писателей.

Павла Петровича такие суждения возмущали:

— Так что же они, выходит, заранее, не написавши еще ничего, считают, что литература — это одно, а образование — другое. И тем самым как бы освобождают себя от знаний.

Вот выдержка из письма на эту тему и в развитие ее:

«...Правда, в прошлом бывали писатели и поэты, не получившие систематического образования, но ведь тогда было другое время. Равняться на него нам не приходится. Да и те люди, которым в прошлом удалось выйти в литературу, долго и самым трудным путем учились. Примите этот совет без обиды. Говорю прямо, без подслащивания. Поэзия — вершина высокая...

...Поэтому и готовиться к подъему надо всерьез: в первую очередь учиться, изучать работы предшественников и повседневно тренироваться в стихосложении. Примерно так делал Багрицкий, который, уже ставши известным поэтом, ежедневно строк по 50—60 писал в порядке упражнения и бросал написанное в печку. Не забывайте, что А. М. Горький определял талант как неугасимую любовь к труду».

* * *

Когда литератор становится хотя бы немного известным, не говоря уж, если он очень известен, вокруг него обязательно возникает плеяда пишущих. Одни находят, что он близок им, у него есть о чем спросить, что позаимствовать, к чему при-

слушаться. Это те, кто хочет расти, совершенствоваться, находить себя и работать.

Есть значительно большая по численности категория нетерпеливых, стремящихся как можно скорее опубликовать свое произведение, полагая, что это легче сделать через писателя, тем более именитого.

И, наконец, есть третья группа одержимых сочинительством, не имея на то никаких данных или имея их ничтожно мало. Ничуть не больше, чем всякий образованный человек, писавший в школе и в высшем учебном заведении сочинения, умеющий складно и даже хорошо рассказывать. Вот в этой-то категории и возникает печальнейшее из заболеваний. Мания сочинительства, или научно — графомания. И если она еще порождает признаки смежной с ней мании величия, тогда дело оказывается совсем плохо. Такому начинает казаться, что его не понимают, затирают, не хотят признавать, травят и так далее. Он страдает. Мучит себя и других. Жалуется. Пишет заявления. Угрожает или унижается. Требует или вымаливает. Что, в общем-то, одно и то же.

Когда Павел Петрович стал широко известен, он испытывал общение со всеми названными выше категориями обращавшихся к нему.

Что касается первой категории, то для Бажова как для бывшего учителя общение доставляло большую радость.

Это подтверждается множеством подробных писем Павла Петровича, в которых он разбирает посланное ему произведение, отмечает его достоинства и не проходит мимо слабых мест.

Павел Петрович не раз говорил, что нет ничего для него более трудного, как встреча с застарелым графоманом. И такие случались. Приносили романы по восемьсот страниц. Вы можете себе представить, какая пытка слушать в авторском исполнении пришедшего без звонка, без предупреждения, до трясучки самовлюбленного, плодовитого фабрикатора, оскорбляющего слух и бумагу стихоподобным, безрифменным, разухабистым бредом на тему и без нее... Просто так — начал яканьем, перешел на восторженное аханье и завершил улюлюканьем во имя неизвестно чего и зачем и для кого.

Сколько раз терпеливо устно и письменно деликатный Павел Петрович вразумлял ищущих легкой славы и видящих в литературе соблазнительную поживу или бескорыстное времяубивание «для бездействующей пустопорожности души и размягчительности застарелого сердца»!

— Сколько их,— озираючись, признается мне Павел Пет-

рович,— и за что мне на старости лет такие испытания! А как ты скажешь скрипучеголосому «не пой». Жалко. Но жалей не жалей, ты его не обучишь пению. А если, милосердствуя, хотя бы слегка похвалишь его безголосие, то тем самым навсегда или надолго погубишь его, вселив обнадеживающие песнопевческие возможности.

Павел Петрович, при всей его интеллигентности, был хотя и мягок, но прям в оценках присланных ему на суд творений. Привожу строки из письма на произведение плохое и скороспелое, но не окончательно, видимо, безнадежного автора.

ОБ ОДНОМ РОМАНЕ

«С вашим романом (название) ознакомился. Не смог прочитать всего, так как многие страницы оказались недоступны моему зрению, но все же понял настолько, чтобы сделать заключение.

Случилось именно то, что уже предварительно высказывал Вам. А. М. Горький недаром предупреждал многих начинающих писателей: «Не беритесь сразу за большие полотна, они требуют навыков». Одному из уральских писателей даже заметил, что считает неуважением к литературной работе, когда берутся за высшие формы, не испытав свои силы на более доступных и легких.

Бывают ли из этого правила исключения, не знаю. Мне, по крайней мере, таких видеть не случалось. Прекраснейшие книги, написанные нелитераторами, как раз сделаны в простейшей манере личных воспоминаний. Таковы, например, «Мои воспоминания» академика А. Н. Крылова, «Записки металлурга» академика М. А. Павлова, «Пятьдесят лет в строю» Игнатьева и мн. др.

...Ваш граф Воробьев не многим отличается от лубочного Мочалкина, который «для прохладительности скинул спенжачок и зажаривает на венской с колокольчиками, а его княгинюшка руку в бок, а другой платочком помахивает». И надо сказать, что такой лубок даже лучше, потому что он никогда не обманывает. Читатель тут видит откровенную издевку, а Вы рассказываете о быте своего графа с серьезным видом, рассчитывая на то, что читатель Вам поверит. Боюсь, что таких легковерных людей не окажется. Все же по литературе знают, что быт титулованной знати прошлого существенно отличался от быта купцов средней руки...



Книги П. Бажова изданы на многих языках мира.



П. Бажов в детстве.



П. Бажов в юности.



Павел Петрович с матерью Августой Степановной
и женой Валентиной Александровной Бажовыми.



В «Крестьянской газете».

Г. Усть-Каменогорск. Дом по ул. Пролетарской, 20.
В 1919—1920 гг. здесь жил П. П. Бажов.

Боевые друзья — партизаны.

Дом на углу.



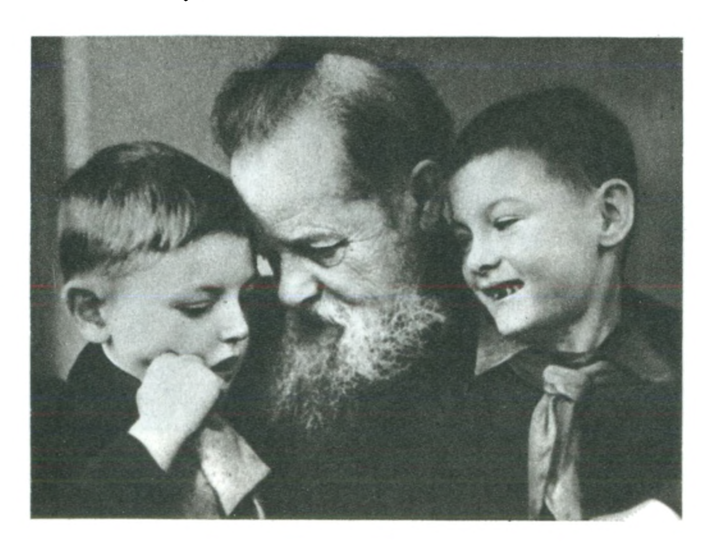
В кругу семьи.

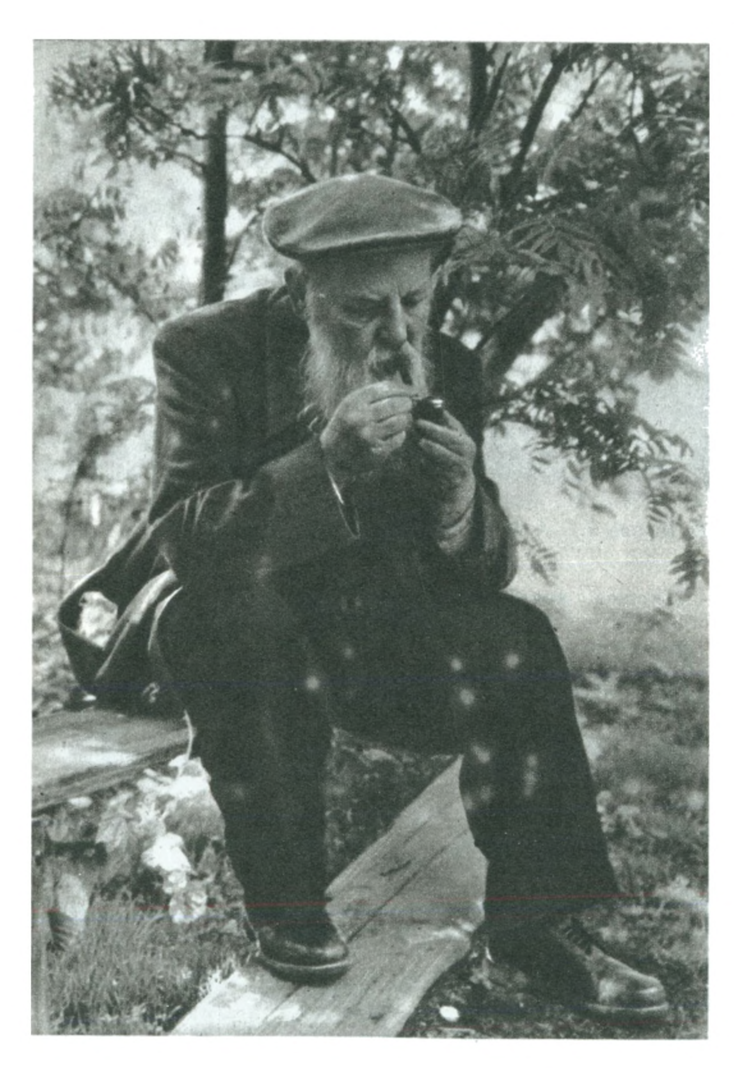
П. Бажов с книгой «Малахитовая шкатулка» первого издания. 1939 г.



П. П. Бажов и Е. А. Пермяк.

П. Бажов с внуками.





На отдыхе.

Огневушка-Поскакушка.
(Сказка для детей)

Сидели раз старатели в лесу
у огонька. Четверо-~~то~~ большие, а пя-
тый парнишечко. Годов так восьми.
Не больше. Федюнькой его звали.

За день все намахались, на-
маялись, а Федюнька то малолет-
ству и вовсе притомился. Давно всем
спать пора, да разговор занят-
ный пришелся. В артели, видишь,
один старик был, дедко Ефим, ~~его~~
~~звали~~. Он с молодых ~~лет~~ годов из земли
золотую крупку ~~искал~~ выбирал. Мало ли
каких случаев у него бывало. Ста-
рик вот и рассказывал, а стара-
тели слушали.

Страничка рукописи.

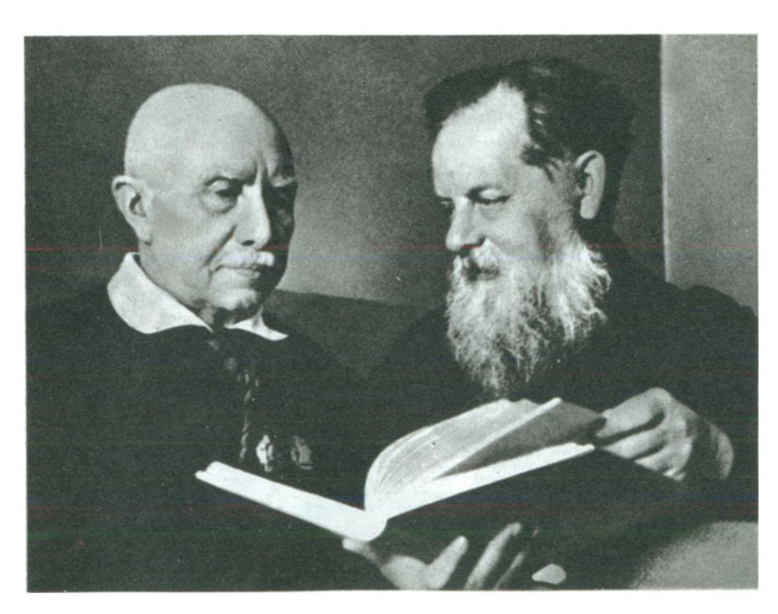
В Верховном Совете.

На Думной горе...



Среди молодых читателей.

А. С. Серафимович в гостях у П. П. Бажова. 1941 г.



П. Бажов с писателем Б. Полевым.

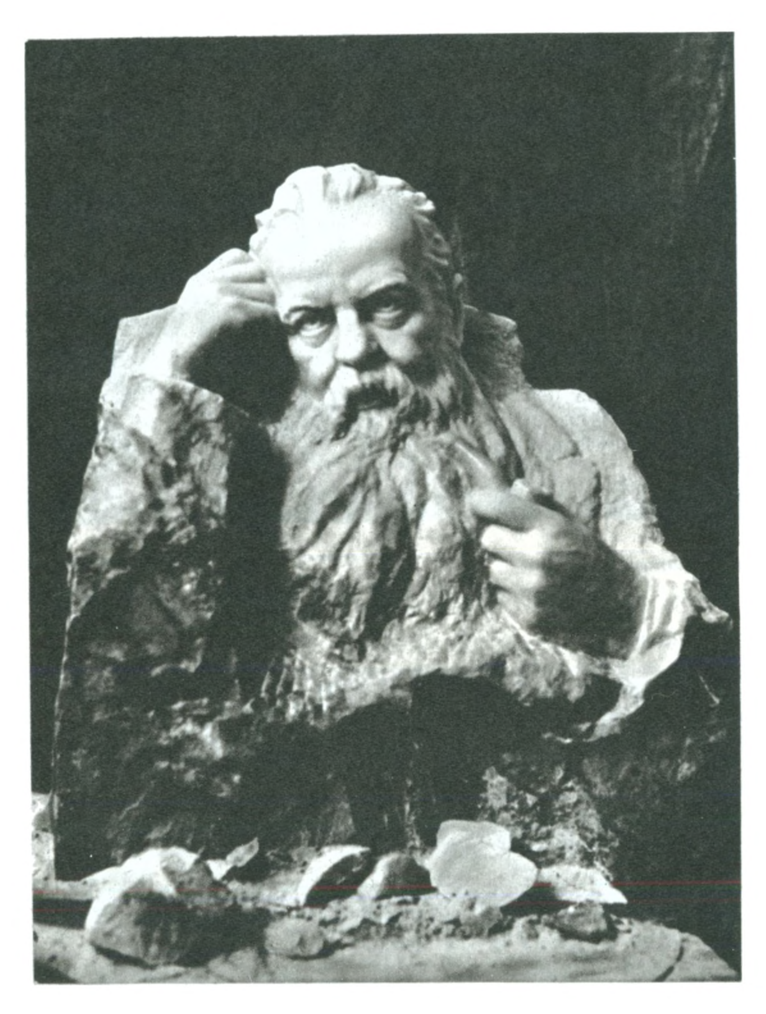
С. Михалков, П. Бажов, К. Симонов.



Самые юные читатели.

Среди пионеров.

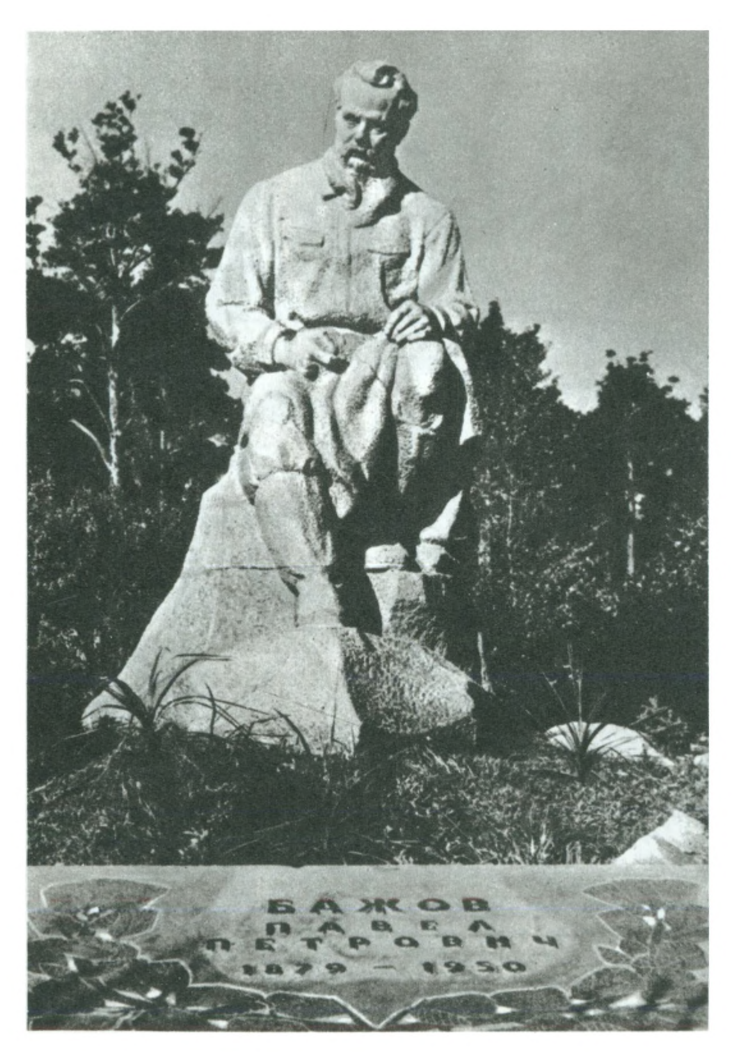




Мраморный бюст П. П. Бажова. *Скульптор Г. Петрова.*



Книги о П. П. Бажове.



Памятник П. П. Бажову.

...Вам, вероятно, и самому приходилось читать, что знатные дамы предпочитали вовсе не украшать себя драгоценностями, чем показывать купецкую дешевку...

...Вообще выдумка в литературе — дело очень ответственное, ко многому обязывающее автора...

...На всех этих мелочах останавливаюсь с единственной целью убедить Вас, что художественный вымысел, неизбежный при построении повести, рассказа или романа, может держаться лишь на прочном фундаменте хорошо изученных фактов, явлений, характеров...

...На мой взгляд, старательская жизнь Вам известна поверхностно, отсюда и выдумка о сдаче первых партий краденого золота, как говорится, удобна для автора, но неудобна для правды... Один из (Ваших) старателей нашел самородок весом 18 фунтов. Не зная, чем удивить своих товарищей, старатель построил дом-дворец и поставил при входе швейцара с булавой, выточенной из березовой палки. Читатель современный, не знающий условий прошлого, может принять это за правду, но ведь автор должен быть строгим к себе. Право художественного вымысла вовсе не право обмана. Вы же знаете, что 18 фунтов даже по тем повышенным ценам, какие у вас взяты для 80-х годов, дадут не более четырех с половиной тысяч рублей. При всей дешевизне строительных материалов и работ никакого дома на эти деньги построить было нельзя. Дом, который хотя бы с лицевого фасада можно было назвать дворцом, исчислялся даже в более ранний период десятками тысяч рублей».

* * *

Эти извлечения взяты из письма протяженностью более 15 000 знаков, то есть около половины печатного листа. Поэтому следует заметить, с какой добросовестностью относился Бажов к рукописям, присылаемым ему, и с какой обстоятельностью отвечал на них. И одновременно позволю себе заметить, с какой безжалостностью относились к Бажову те, кто так беспардонно требовал чтения подлежащего осмеянию и забвению.

Забота об еще не написанном произведении товарища, желание в чем-то предупредить его, поделиться с ним своими мыслями вплоть до имен действующих, до заглавия произведения не могут не вызвать уважения к этому занятому человеку, который в густых сутках находит минуты, чтобы обогатить другого своими суждениями, даже не об его произведении, а всего лишь о заявке.

* * *

«...По заявке своего мнения не сказал. Не умею этого делать. Мне все кажется, что план в художественном произведении очень немного значит. Может быть, это очередная ересь, но себя постоянно ловлю на том, что даже основная мысль не укладывается так, как вначале предполагаешь. Назовешь, скажем, преходящий персонаж Михей Кончина — это тебя обязывает к одному, назови его Яша Кочеток — надо дело представить совсем по-другому. Камнерезы, по-моему, были правы, когда говорили: «Хочу вырезать виноградную ветку, а может, капустный листок выйдет». Неожиданность поворотов в зависимости от деталей настолько существенна, что любая заявка мне кажется первоначальным намерением, т. е. тем, чего не найдешь в сделанной вещи. Отстаивать это свое заблуждение не собираюсь: толку не хватит, но так думаю и, пожалуй, не верю, что есть произведения (имею в виду именно произведения), которые бы были написаны в соответствии с первоначальными авторскими предложениями...»

ДОЧЬ ОБ ОТЦЕ

Дочь Павла Петровича — Ридочка — живой свидетель и наиболее достоверный рассказчик. Об отце она говорит:

«Он умел радоваться чужим удачам. Я не помню, чтобы на протяжении 25 лет, что я знала отца, он о ком-нибудь говорил зло. Он мог пошутить, даже высмеять, он мог оценить очень резко, мог сделать выговор, но все это всегда доброжелательно — без злобы, без зубоскальства, без снисходительности, которая так обижает молодых. Я не помню, чтобы о ком-нибудь он говорил недоброжелательно. С огорчением — да. Он совсем не смотрел на людей как на ангелов и умел им объяснить, чего они, с его точки зрения, стоят, но делал это всегда не обидно, с большим чувством такта. Как-то пришел к нему начинающий писатель. Это был человек средних лет, и принес он не тонкую тетрадку стихов, а толстенную рукопись романа, написанного идеальным каллиграфическим почерком. Отец начал читать сразу. Его привлек почерк. В те времена он уже видел плохо, и его просто восхитила прекрасно выполненная рукопись, но с первой же страницы он начал хмуриться, вздыхать, проводить рукой по волосам, бросил, снова принялся, не выдержал и стал жаловаться:

— Какое убогое графоманство! И как человеку не стыдно!

Но рукопись не бросил и упорно читал. Через несколько дней автор пришел за ответом, а так как я слышала отзыв отца о рукописи, мне было интересно, как будут развиваться события, как удастся все объяснить автору, и я вертелась возле, как будто у меня неотложные дела в отцовской комнате.

Сначала разговор велся неторопливый и не относящийся к делу. Однако из этого разговора отец выяснил, кто перед ним сидит, чем он занимается, о чем думает и мечтает в те минуты, когда не пишет свой длинный роман. Потом он сказал ему все напрямик. Он сказал, что роман никуда не годится, разве только печки разжигать, но что десять страничек из романа свидетельствуют о том, что у автора есть глаз, способность наблюдать и передавать увиденное своими глазами, а то, что у него хватило терпения переписать от руки тысячу страниц, свидетельствует о трудолюбии, и, следовательно, эти два качества, а также его интересная профессия — залог того, что он может писать интересно, а писать надо, вероятно, вот о чем. И они занялись детальным и подробным обсуждением того, о чем стоит писать человеку этой профессии с его жизненным и производственным опытом. Расстались они лучшими друзьями.

Автор, вопреки всем моим ожиданиям, ушел не только не обиженный, но совершенно сияющий. Он даже меня за что-то благодарил, с чувством пожимая мне руку и повторяя:

— Спасибо, спасибо.

И он действительно стал писателем».

* * *

Павел Петрович радовался чужим удачам. Как восторженно он рассказывал мне о писателе-слесаре из Нижнего Тагила Алексее Петровиче Бондине:

— Самородок! Не убавишь, не прибавишь. Литературный талант с литературщиной не спутаешь, какой бы ловкой жонглерщиной она ни была...

Ридочка — Ариадна Павловна — лаконично и впечатляюще вспоминает о дружбе отца и Бондина:

«...Дружба с Алексеем Петровичем Бондиным началась еще в 20-е годы, когда на Урале только возникали первые литературные объединения. Бондин был коренным тагильским

рабочим и пришел в литературу со своими первыми художественными произведениями в начале 20-х годов. Отец редактировал одно из его первых произведений — «Лога». Деловые их отношения вылились в дружбу крепкую и уважительную.

Приезжая из Тагила, Алексей Петрович проводил у нас целые дни. Помню его высокую, жилистую фигуру, голубые, будто выгоревшие, глаза, легкие волосы, темную косоворотку. Бондин был страстным охотником, и разговоры их часто крутились вокруг охоты и рыбалки. Иногда Бондин оставался у нас ночевать, но не спал в доме, а брал подушку, одеяло и устраивался в саду, в гамаке. Маме это не нравилось. Она считала, что некрасиво выгонять гостя в сад в осеннюю холодную ночь, но Алексей Петрович и отец смеялись:

— Ему-то, привычному охотнику, не впервой под звездами спать. Не простудится, не волнуйся, Валянушка,— говорил отец.

Незадолго до смерти Алексея Петровича пришло от него письмо, непривычно ласковое для такого сдержанного человека, каким он мне казался, поэтому и запомнилось.

«Я с большой радостью,— писал Бондин,— вспоминаю, как мы совместно работали над моей книгой «Лога», и с большим удовлетворением подсчитываю сумму всех твоих пожеланий, так для меня ценных... Пусть твоя ласковая рука напишет еще не одно произведение».

* * *

Справедливость требует заметить, что не без доброй руки Павла Петровича в Свердловске вышло трехтомное собрание сочинений А. П. Бондина. Такой трехтомник украсил бы иного и профессионально пишущего писателя, не такого, как Алексей Петрович, написавший почти все свои произведения, что называется, «без отрыва от станка», оставаясь рабочим. Об этом тоже говорил Павел Петрович кое-кому из тех, кто, издав малую книжицу, «возомневал о себе», бросал работу, оставлял питающую его творческую среду и становился на тягчайший путь полулитератора, полуиждивенца Литературного фонда и вымогателя переизданий своей единственной книжечки, пусть хорошей, но допереиздававшейся до неспособности продаваться в книжных магазинах по причине перенасыщения ею.

О трагедии ранней, а иногда и невозможной для ко-

го-то профессионализации Бажов говорил часто и доказательно.

— Мне такой литератор видится сорванной веткой черемухи в хрустальной вазочке. Цвести цветет, а плодов не дает и вянет. А будь бы он на родном кусте,— сокрушается Павел Петрович,— не один бы десяток лет цвел и плодоносил новыми книжками.

ГОРОБЛАГОДАТСКИЕ СТРОКИ

Мне тоже довелось испытать благотворное влияние Павла Петровича, для которого и чужая книга не была чужой.

На Гороблагодатском железном руднике затеяли книгу, по примеру известного сборника, написанного нижнетагильскими рабочими: «Были горы Высокой». Гороблагодатская книга «Слово о горе Благодать», вышедшая в моей записи со слов более двухсот рабочих рудника, рождалась в муках.

Надо полагать, эта книга во многом бы выиграла, если бы Павел Петрович согласился стать ее редактором. И все же он очень много сделал для книги. Его «Гороблагодатские письма» могли бы стать особой тетрадью, рисующей Бажова как образованного историка, знатока своего края. Он пишет мне без скидок на добрые отношения, исходя только из правды истории, не допуская в документальной книге неточных, хотя бы и звучных иносказаний, непроверенных похвал историческим лицам, не заслуживающим этого. Горьковато читалось мне это письмо на горе Благодать. Горьковато, зато памятно.

«В Ваших последних письмах меня встревожило повторяющееся выражение о «Библии металлургии» Генина. И это подкрепляется ссылкой на М. А. Павлова, с предисловием которого вышла книга. Сколько помню, я уже «упреждал» Вас по поводу книги Генина, но, зная Вашу склонность к быстрым и решительным выводам, хочу еще раз об этом поговорить.

...Не считайте, пожалуйста, меня таким идиотом, что прицепился к словосочетанию и жует его на протяжении всего письма. Дело не в нем, не в словосочетании, а в той манере, которая здесь видна со всей выпуклостью. Промелькнул предисловие Павлова (того самого!), напитался от Злотникова, полистовал Генина — и готов вывод: Библия металлургии. Слова, что и говорить, звонкие, на эстраде хоть под занавес, но ведь книга-то у Вас делается всерьез. Такие наспех сделанные

на гвозде завитки никакое лицо не украшают, а здоровье даже портят. И хуже всего, что редактор-металлург этого не заметит, т. к. он не историк и не литератор. Понимаю, что имя Бардина[1] — стальной заслон, но не беспокойтесь, в предисловии будет оговорена ответственность редактора так же вот, как сделал М. А.: «Почему не печаталась, понять трудно». В результате за всякого рода «смелые обобщения» придется отвечать самому. А в исторической науке намечается определенно поворот, какого уж давно жду. Недавно вот читал, что концепция Туган-Барановского немногим отличается от того, что говорили по поводу уральской металлургии А. Корсак и П. Милюков. Чувствуете? Того и гляди, кто-нибудь вытащит на свет Политеку, который густо поносил в 60-х годах Генина за его карьеризм, корыстолюбие, техническую никчемность (по сравнению с Татищевым), за его бесцеремонное обращение с чужим материалом и т. д. Тогда и выйдет Библия! Кстати, о Туган-Барановском. В этом ельнике на заболоченном месте, может быть, и есть съедобные грибы, но больше ядовитых, которые внешне похожи на съедобные. Собирать грибы в этом ельнике можно только докторам грибологии (есть, наверно, такая наука, с каким-нибудь греческим же началом), а нашему брату не рекомендуется.

Простите, Евгений Андреевич! По опыту знаю, что Вы не любите советов по творчеству, чуть-чуть даже обижаетесь. Помню Вашу отповедь — пью из своего стакана. Но ведь это французское суесловие, не больше. Древние греки говорили по-другому: пью из всякой посуды, если она чистая и вино доброе. Так-то, друг, учитесь у греков. Они не подведут. Думаю, не сомневаетесь, что я хотел бы предложить Вам доброе вино из чистой посуды, от всей души».

* * *

И еще письмо. На этот раз поощрительное. Беспокоился Павел Петрович о коллективной книге кушвинцев-гороблагодатцев:

«Кушвинское Ваше письмо мне очень понравилось. Похоже, что дело, во-первых, ставится совершенно всерьез, и Вы как будто заразились этим. Настроение, с которым уезжали, было гораздо хуже...

---

[1] Предполагалось предложить общую редакцию книги «Слово о горе Благодать» академику Бардину.

...Словом, нашлась печка, от которой можно танцевать, и надо пожелать, чтоб танец вышел вполне удачным...

Сказ о Чумпине надо искать не на горе Благодати, а гораздо севернее. О нем давно думал, но выходит совсем по-русски, и это неправильно. О нем, как о первооткрывателях горы Высокой, Ницинского рудника и Соймановских месторождений, писано много, но нигде не видно ни одной национальной черточки, а они ведь должны быть. С Благодатью крепко связан В. Н. Татищев, но у меня за последнее время в связи с раскопками по Акинфию Демидову родилось какое-то еще не вполне осознанное желание связать эту историческую фигуру с двором Анны больше, чем это принято. Это, конечно, пустяк, что русским названием горы прикрывается тонкий вид придворного подхалимства[1]. Важнее другое — отношение Татищева к организации берг-директориума, который разбазарил все Петровские заводы. Этот вот туман и мешает мне заняться материалами, больше других связанными с Татищевым. Сказ, ведь знаете, штучка ажурная, которая может держаться лишь на очень прочном фундаменте, а не на тумане. Между прочим, этот вопрос у меня теперь стоит поперек дороги, многому мешает. И хуже всего — не вижу выхода, т. к. ковыряться в подлинниках не имею физической возможности, а в литературе пестрота и полемика, которой нельзя верить. Впрочем, я уже, кажется, говорил Вам все это. Ну простите за повторение. Сегодня же праздничный день, до конца которого осталось 17 минут. 1 января 1946 г.».

* * *

Я приглашал Павла Петровича написать сказ о легендарном сыне народа манси Степане Чумпине, открывшем магнитную гору, тогда еще не называвшуюся Благодать, что значит, повторю, с древнееврейского — Анна. Анной была императрица, которой тонко польстил «властитель Урала» Татищев, назвав богатейшее месторождение магнитного железняка царицыным именем. (Какие длинные я строю фразы, что даже потерял главное — Степана Чумпина.)

Степан Чумпин был принесен в жертву мансийским богам сожжением на костре за то, что он открыл властям святую

---

[1] Имеется в виду, что древнееврейское имя Анна в переводе на русский означает «благодать».

гору, притягивавшую железные наконечники стрел, на которой было мольбище.

Чем не сюжет для сказа? Конфликт. Романтика. Подвиг. Трагическая развязка на костре. Для писателя-историка это роман на двести страниц, в котором и родовой строй и цивилизация Москвы. Камзолы Татищева и свиты, а рядом — люди в шкурах и охота с луком. Об этом я писал Павлу Петровичу, заманивая его в сказ о Чумпине.

Бажов мне ответил:

«О железнорудных месторождениях у меня, верно, нет ни одного сказа по самой простой причине — не слыхал. Вероятно, потому, что железная руда у нас преимущественно разрабатывается вразнос, в открытую, на полном свету и без особых поисковых удач, а так же просто, как камень в каменоломне. Имеются предания лишь об особо крупных и дорогих открытиях, к числу которых принадлежит, конечно, и Благодать. О Чумпине написано очень много. Не случайно же памятник был поставлен. Много около этого памятника «словесную вязь сплетали». Но именно вязь. Распознать это просто, а предложить что-нибудь взамен гораздо труднее. Верней сказать, вовсе не под силу, т. к. у меня нет даже поверхностного знакомства с фольклорными образами и стилевыми особенностями их передачи у манси. Об этом, впрочем, уже писал Вам более подробно в предыдущем письме.
3.I-46 г.».

ПОЛЕМИСТ И РИТОР

Вы видите, как прям и «бесскидочен» в своих суждениях Бажов, при всей элегантности в выборе слов. Ни одного обидного выражения, а строгость суждений и приговора непримиримы. Но...

Но так он, может быть, разговаривал с начинающими, а не с известными?

Нет!

Бажова невозможно причислить к разряду примиренцев и, того хуже, непротивленцев в литературе. Его кое-кто и — может быть, я — живописует под рождественского Деда-Мороза, что, в скобках говоря, было в его внешности, улыбке и чадолюбии, но все же Бажов умел защищаться и защищать, атаковать и побеждать, когда это было необходимо. Язык верно служил ему как живописцу, художнику, поэту, но он же стано-

вился острым оружием его полемики. Не случайно же, еще в семинарии, одним из лестных прозвищ Бажова было «Ритор». Риторику, преподаваемую в семинарии для утверждения веры, догм православной церкви, проповедей в храме и возвращения «глаголением» безбожной овцы в пасомое стадо, Бажов применял с блеском для далеких от религии и даже супротивных ей целей. Тем самым показав, что риторика и формальная логика — напрасно забытые учебные предметы в учебных заведениях, особенно гуманитарных.

В газете «Уральский рабочий» 15 ноября 1946 года появилась рецензия на коллективную книгу «Золото», подписанная редактором газеты. Не называя рецензента, Бажов уличает его в некоторых «стилистических неловкостях», а затем с присущей ему учтивостью уличает его в незнании предмета, который им критикуется. Бажов приводит неопровержимое в противовес нападкам на сборник «Золото», посвященный двухсотлетию с года открытия золотоносного месторождения в Березовске.

Бажов академически спокойно читает, как лекцию, страстную отповедь. Обратите, пожалуйста, внимание на ее словесное построение. Помните, мы говорили о «многоязычии» Павла Петровича? Сейчас мы его услышим в новом, полемическом качестве не «сказителя», а ученого-историка.

* * *

«...О Березовске известно, что это — первое в нашем государстве месторождение, где началась промышленная разработка золота, что именно здесь после 70 лет работы впервые освоили добычу россыпного золота, после чего наша золотопромышленность стала развиваться необыкновенно быстро. Охватив весь восточный склон Урала, она перекинулась в Сибирь, на Олекму, Сев. Оймякон, Витим, а потом в какой-то мере, может быть, отозвалась и на россыпях Аляски. Если до открытия способа добычи россыпного золота за пятилетие у нас в России добывалось его лишь 80 пудов, то в третьем, после этого, пятилетии страна получила 2400 пудов, и дальше пошло нарастание — 5, 7, 9 тысяч пудов. В комментариях к таблицам по мировой добыче золота появились заметки: Россия за это десятилетие имела золота вдвое больше против Америки. Начало этому развитию положил Березовск. Там крепостные рабочие благодаря своей наблюдательности, напористости и сметке, при явном и тайном противодействии со стороны приглашенных специалистов, нашли-таки ключ, который позволил открыть и

дальнейшими техническими улучшениями широко распахнуть двери для русской золотопромышленности.

Березовское месторождение представляет большой интерес и с геологической стороны. Этому месторождению посвящены специальные работы за границей, конгресс американских геологов обсуждал вопрос о генезисе Березовского месторождения. Понятие «березит» вошло в мировую номенклатуру отсюда. После 200-летней разработки перспективные возможности месторождения расширяются.

Вот рецензенту и надо было, взвесив все «за» и «против», сказать, заслуживает ли история Березовска такого внимания, чтоб заниматься ею в наше время, стоит ли рассказывать современному читателю о давней, теперь основательно забытой победе березовских рабочих, вызывает ли она чувство гордости за наших предков, зовет ли на трудовой подвиг, помогает ли социалистическому строительству?

В зависимости от решения этого вопроса нормально было ждать от рецензента либо полного осуждения ненужной затеи издательства, либо оценки, удовлетворительно ли справилось издательство с поставленной задачей, не затенена ли историческая роль Березовска очерками о состоянии других месторождений, не потерялся ли среди мощных правнуков — электродраг и мониторов — их родоначальник — азиатский ковш и его первые дети — вашгерд, бутара?

Понятно, что решать вопросы всегда хлопотливо и ответственно. Гораздо проще и спокойнее написать: «Жизнь и дела уральских золотоискателей, особенно наших дней, получили очень слабое воплощение». По этому поводу надо напомнить, что спокойствие никогда не считалось, не считается и не будет считаться положительным качеством советских критиков...

...Тем удивительнее, что именно в этой рецензии оказалось такое, что не укладывается в рамки этики советской печати.

Упомянув в первых двух абзацах ранее изданные сборники «Нижний Тагил» и «Свердловск», рецензент даже отметил, что о достоинствах и недостатках этих сборников «уже высказаны замечания на страницах «Уральского рабочего».

Это напоминание не помешало, однако, поставить над рецензией обобщающий заголовок: «Еще один неудачный сборник». Иными словами говоря, рецензент попутно, мимоходом охаял труд двух других творческих коллективов, работающих

над книгами «Нижний Тагил» и «Свердловск». Прием, можно с уверенностью утверждать, небывалый в истории советской печати.

Со стороны автора он совсем непонятен, так как сам же он в той же газете «Уральский рабочий» за 26 апреля 1945 года поместил положительную рецензию на сборник «Нижний Тагил». Он писал, что «собирательным героем» этой книги «является всепобеждающий созидательный труд русского человека, что сборник «Нижний Тагил» интересен не только с точки зрения познавательной. Он вместе с тем является своеобразной попыткой возродить замечательную идею А. М. Горького о создании истории наших городов. Попытку эту следует приветствовать. Советский читатель был бы очень благодарен издательству и его авторам, если бы, например, вслед за «Нижним Тагилом» появились в свет книги о Свердловске и о других городах нашей области».

Можно допустить, что человек пересмотрел свои взгляды, но он, во всяком случае, обязан был об этом сказать...

...Никто, разумеется, не отрицает права критики противопоставить одной, хотя бы и собственной, оценке другую, прямо противоположную, но считать бывшее небывшим не в обычаях советской критики и советской печати.

Как один из участников всех трех сборников и руководитель свердловской писательской группы, категорически протестую против такого заушательства мимоходом.

Если это сделано от избытка резвости, то это недостойный прием, а если за этим скрывается желание перестраховаться на случай отрицательного отзыва, то недостойный вдвойне.

Литературная критика в нашей стране призвана помочь литераторам разобраться в сложных явлениях жизни, освоить происходящие общественные процессы, своевременно указать на ошибки, направить на путь, учитывая особенности, способности автора и накопленный им опыт. Но сделать это может лишь авторитетная и принципиальная критика, которая в случае надобности может смело признать и свои ошибки. Такая же критика, которая уклоняется от решения основных вопросов, подменяя их общими рассуждениями, которая сегодня говорит одно, а завтра старается от этого отмежеваться, но не прямо и честно, а путем проходного удара, броско поставленного заголовка, может лишь дезориентировать писателей. Такая критика нам не нужна, а вытащенный ею прием надо навсегда и решительно выбросить из практики нашей газеты».

ЗАЯВКА НА РОМАН О ДЕМИДОВЫХ

Письма Бажова, особенно полемические, после «Малахитовой шкатулки» — самое ценное, интересное и поучительное в творчестве Бажова. Письма могли бы составить том общим объемом более тридцати печатных листов минимально, если принять во внимание, что только одно письмо Алексею Александровичу Суркову о романе Е. Федорова «Демидовы» приближается к печатному листу.

Павел Петрович, овладев машинописью, видимо, знал, что копии машинописных писем найдут своего читателя, не оставшись достоянием только того, к кому они написаны. Не просто же так Павел Петрович писал письмо-разбор романа Е. Федорова. Для нас это письмо многое открывает и подсказывает о Демидовых, как деятелях прогрессивных для своего времени, и позволяет увидеть Бажова как историка и как несостоявшегося романиста.

Я выбираю из этого известного письма-исследования только самое интересное для широкого читателя, оставляя исторической науке и писателям, пишущим исторические романы, остальное.

* * *

«Дорогой Алексей Александрович!

В 1940 г. в журнале «Звезда» начал печататься роман Е. А. Федорова «Демидовы». Тема да и сам автор, которого я хорошо знаю как партийца и высокообразованного человека, привлекли внимание. Начал читать, но стало не по себе.

Мы ведь избалованы своими историческими романистами. Не только у первоклассных, но и у второстепенных и даже третьестепенных редко можно встретить деталь, слово, жест, которые бы не были документально обоснованы. К этому русский читатель привык, и многие, что греха таить, историю знают больше по таким романам, чем по другому виду исторической литературы. Каждый предполагает, что раз человек берется за широкое полотно романа, то, конечно, изучил материал всесторонне. Может быть, даже побывал на месте, как Пушкин, или подобрал специальный словарь, как Короленко к «Набеглому царю», перерыл уйму книг делового порядка. В силу этого читатель вполне верит, что, как бы ни усложнял автор фабулу, действие будет происходить в исторически правдивой обстановке, и воспринимает эту обстановку без критики. Роман «Демидовы» — в этом отношении новинка.

...Даже там, где материал повелительно диктует романисту вникнуть в вопрос, делается это удивительно легковесно. При описании общеизвестной трагедии Невьянской башни в изложении Федорова ничему не веришь: ни секретному шлюзу, ни чудовищной силе человека, который один поднимает этот шлюз, ни представлению, что могло быть такое закрытое помещение, которое выдержало бы напор прудовой воды, да и смысла в нем не видишь: улики преступления, как известно, стараются убрать подальше...

...Вообще этой ходовой легенде я не верю именно потому, что не могу представить себе это дело практически...

...По-моему, это все-таки вроде того золотого самовара, который последние Демидовы кипятили четвертными билетами, глупая побаска, подхваченная людьми, которые любили поговорить о чужих богатствах...

...Никита не может проехать мимо кулачного боя, чтобы не ввязаться. На барже он один на один выходит против медведя. Из Невьянской крепости он выбегает с дубиной против волчьей стаи. Акинфий тоже убивает медведя, кажется, колом. В московской кузнице завязывает на пруте три узла и в разных местах совершает геркулесоподобные подвиги по женской линии.

...Разве такое любование не смазывает действительные портреты Демидовых? Не физической же силой они вышли на заметное в государстве место! Все эти «силовые подвиги» и противоречат характерам...

...Как прикинешь, что сделал этот человек за 43 года своей жизни на Урале без телефона, без машинистки, без почты и железных дорог, не находишь времени для подобного рода похождений.

...Неслыханное по масштабам того времени заводское строительство Демидовых требовало людей, и прием беглых широко практиковался. И делалось это довольно дерзко.

Чтоб облегчить возможность укрывать беглых, Демидов скупал у помещиков беглых с правом взять их на работу по розыске. На деле никакого розыска не производилось, а документы приспособлялись «к подходящим».

...Когда все это передумаешь, представляются первые Демидовы совсем по-другому. С иными конфликтами, с иными способами противодействия и совершенно другими выводами.

...Пора оценить деяния — именно деяния! — в том числе и колонизационные, с государственной точки зрения и показать первых Демидовых как сподвижников Петра. Причем

надо еще подумать, найдутся ли среди этих сподвижников Петра такие, кто бы мог встать в плечо с Никитой и Акинфием Демидовыми.

Есть сообщение, что Петр намеревался поставить «в публичном месте статует медный в ознаменование оказанных опным Демидовым заслуг». Этому можно поверить, читая изумительную записку-рескрипт при посылке осыпанного бриллиантами портрета из Кизляра: «Демидыч! Я заехал в зело горячую сторону, велит ли бог видеться? Для чего посылаю тебе мою персону: лей больше пушкарских снарядов и отыскивай по обещанию серебряную руду».

Этот неожиданный подарок говорит, что Демидов в памяти царя занимал видное место, как главный поставщик артиллерии и основная надежда на отыскание валютного металла.

Так в действительности и было. Даже надежда царя на Демидовых в поиске серебряных руд не оказалась напрасной: хотя и после смерти Петра, но руду все же нашел Акинфий Демидов. И надо пожалеть, что запоздал с этим, так как, наверное, при Петре рудники не попали бы в руки Бееров, Лаксманов, Ирманов и проч., которые обладали лишь половиной «демидовской жадности» к деньгам, но не к делу.

А сделали первые Демидовы немало.

Имеется сообщение, что Никита первым отлил так называемое «образцовое ядро», то есть создал возможность управления артиллерийским огнем.

Если такое сообщение нуждается в документальной проверке, то совершенно бесспорным является другое, еще более важное, — Демидов сделал первое русское ружье.

И сделал это ружье в пять-шесть раз дешевле привозимых из-за границы. Причем сделал не напоказ только, а сумел организовать массовое производство в десятках, а после получения Невьянского завода и в сотнях тысяч штук. В полтавской виктории победил не только новый, введенный Петром строй, доблесть русского солдата, самоотверженность и смелость полководцев, но и новое огневое оснащение русской армии, что являлось заслугой Демидовых.

Второй, не менее важной заслугой — это уж Акинфия — было сказочно быстрое по условиям того времени развертывание металлургической промышленности на Урале. Акинфий за свою жизнь один сумел построить и пустить в действие свыше 20 заводов. И становились эти заводы основательно, а такой, как Тагил, по доменному оборудованию вышел на первое место в мире для своей поры. Сумел хорошо обеспечить боль-

шинство этих предприятий рудными месторождениями. Достаточно напомнить, что начатая разработкой при Акинфии Демидове рудная гора Высокая и теперь, после 210 лет, остается богатейшим месторождением высококачественной железной руды.

...К тому же Акинфий умел в самый короткий срок организовать на своих заводах необходимые кадры мастеров. Причем ему пришлось преодолеть явное и тайное противодействие помещиков, духовенства и даже представителей правительства на казенных заводах и в управлении горным делом.

К этому надо добавить, что по качеству железо Демидова вышло на первое место. Даже иностранцы, как Шифнер и Вульф, вероятно имевшие связи со своими сородичами на казенных заводах, писали коммерц-коллегии 16 марта 1733 г., что «казенное железо делают на заводах не гладко, в иных местах горбовато и в пропорции широты и толстоты в одной полосе весьма неровно и не так мягко, как демидовское, которое делается гладко, подобно как бы писано было как в толстоте, так и в широте, весьма ровно пропорциею, и в доброте и отделке состоит лучше».

Таким образом, благодаря энергии Демидовых наша страна в короткий срок освободилась от импорта железа и сама стала экспортировать железо. Заслуга Демидовых здесь огромна.

Принято говорить, что достигнуто это за счет жестокой эксплуатации приписных крестьян и вообще крайней жестокости Демидовых.

Жестокость режима Демидовых надо тоже принимать, не выходя за рамки того времени. Ведь придумал же В. Н. Татищев, прогрессивный представитель этого века, мыслитель, историк и, как можно думать, даже атеист, сжечь на костре Тойгильду... за вероотступничество... Если брать мерку по таким фактам, то жестокость Демидовых сильно бледнеет. При этом надо напомнить, что с казенных заводов люди бежали к Демидову, а случаев обратного порядка никто не отметил.

Немаловажным положительным фактом приходится, по-моему, считать и то, что Демидовы ставили металлургию без иноземной помощи. Эта сторона дела у нас как-то вовсе забывается, а она ведь очень интересная и одна может поставить вопрос о Демидовых совершенно по-новому.

А открытие медных и серебряных руд в Сибири разве мало значит? Оно ведь не так легонько пришло, как придумано в романе. Опять новая, никем не читанная страница истории, связанная с Петром и его ревностным сподвижником Акинфием Демидовым.

...Теперь последний вопрос — зачем это все пишу?.. Вопрос той или другой характеристики Демидовых, конечно, спорный, но бесспорным кажется, что психологический рисунок должен быть гораздо сложнее и основные конфликты должны перенестись в другую среду. Попутно хотелось высказать и свою точку зрения на Демидовых и посоветоваться, не время ли показать их в полный государственный, а не уральский только рост и по-новому раскрыть тайну Невьянской башни.
1945 г.».

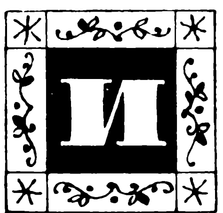
Читается это письмо как письмо, а если вдуматься, то в нем мы можем увидеть и развернутую творческую заявку на роман о Демидовых. Не верьте мне, я и сам боюсь своих выводов, но не могу отказаться от них, потому что я устные фрагменты романа о Демидовых слышал расширенно и подробно. И теперь, соединяя воедино слышанные «устные главы» сочиняемого романа, я глубоко убежден, что он был бы, если б был, по значимости исторического материала и благодаря широкой славе Демидовых романом большого звучания.

Бажов пока еще недооцененная литературоведением и критическим доосмысливанием фигура. В подтверждение этого и, может быть, ради этого и была написана мною пятая тетрадь — «Ненаписанные романы».

Отрывочно приведенное в этой тетради наиболее подробно обнародовано в сборнике архивных материалов: «П. П. Бажов. Публицистика, письма, дневники». Свердловск, 1955.



ШИРОКИЙ КРУГ



Идя с Павлом Петровичем по городу, всякий сопутствующий ему мог заметить, что с Бажовым раскланивался примерно каждый третий из встречных.

Еще со времен работы в отделе писем «Крестьянской газеты», позднее в Свердловгизе, круг знакомых расширялся и уплотнялся. Это были рабочие, мастера, журналисты, начинающие и начавшие литераторы, учительство, пионерские работники и, конечно, дети.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДРУЗЬЯ

С выходом книги «Малахитовая шкатулка» и вступлением в Союз писателей появились новые знакомые и друзья. Во-первых, вся свердловская писательская организация. Затем свердловские артисты, игравшие в пьесах по сказам Бажова, радио- и киноработники. Плеяда почтовых знакомых через читательские письма. Наконец, широкий круг друзей и знакомых по Москве, по Верховному Совету, по Союзу писателей. Среди них — известные всем имена, которые я уже называл: Мариэтта Сергеевна Шагинян, Ольга Дмитриевна Форш, Анна Алек-

сандровна Караваева, Федор Васильевич Гладков, встречавшиеся с Бажовым в Свердловске. К ним нужно добавить писателей, пишущих для детворы,— Агнию Львовну Барто, Льва Абрамовича Кассиля, живших в Свердловске в годы войны. Там же завязались отношения с известным литературоведом Гудзием Николаем Калиннйковичем, поэтом Юрием Никандровичем Верховским, прозаиком из рабочей среды и рабочей темы Николаем Николаевичем Ляшко, автором книги «Интернациональный батальон» Виктором Григорьевичем Финком, уже называвшейся Людмилой Ивановной Скорино, а до этого приезжавшими в Свердловск Александром Серафимовичем Серафимовичем, Алексеем Силовичем Новиковым-Прибоем, Александром Александровичем Фадеевым и позднейшими гостями дома Бажова — Алексеем Александровичем Сурковым, Борисом Николаевичем Полевым, Оксаной Дмитриевной Иваненко. Память не удержала всех именитых гостей бажовского дома. Встретившийся с Павлом Петровичем хотя бы один раз навсегда запоминал это свидание.

Посмотрите, пожалуйста, что говорит А. Сурков о Бажове одним только заглавием своей статьи: «Уральский волшебник». А в этой статье Сурков пишет о Павле Петровиче:

«...круг его интересов был чрезвычайно широк. И столь же широка была его поистине энциклопедическая осведомленность о делах своей области».

И далее:

«...В волшебный мир старых уральских сказов Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной земной силой побеждали условность сказочной волшебности, как земная любовь простой русской девушки победила волшебную силу Хозяйки Медной горы».

Б. Полевой в своем воспоминании «О нержавеющем мастерстве» рассказывает:

«...я, в силу своей профессии повидавший на своем веку немало интересных больших людей, признаюсь жене, что сейчас вот на пороге бажовского домика волнуюсь, как волновался когда-то в юности перед экзаменом по любимому предмету.

Вместо могучего плечистого бородача встречает нас в полутьме прихожей небольшой сутуловатый старичок... Из мягкой рамки шелковистых седин смотрит открытое русское лицо. Бажов глядит на собеседника чуть исподлобья, из-под приспущенных бровей, но взгляд у него доброжелательный, ласковый. Когда он улыбается незаметной под усами улыбкой, к глазам сбегаются живые и веселые морщинки, и от них, как

это ни странно, лицо как-то вдруг свежеет и будто бы даже молодеет».

О круге знакомых писателей и отношении их к нему можно судить и по дарственным надписям на книгах.

Петр Андреевич Павленко надписывает:

«...сыновне приветствую вас. Простите, что не был на вашем торжестве. Лечу в Америку. Радуюсь вашему творческому многолетию, завидую ему и рад, что являюсь вашим современником».

«...Я вновь и вновь их (сказы) перечитываю, подлинно наслаждаясь и богатством выдумки, и слаженностью сказов, и сладкозвучным русским языком... С пожеланием творческого настроения и душевного покоя Ваш неизменный почитатель Игорь Грабарь».

«...Дорогому Павлу Петровичу с любовью, Мариэтта Шагинян».

«...Спасибо за ваши сказки. Сергей Михалков».

«...Автору «Малахитовой шкатулки», который открыл секрет создания сказки, тысячелетиями хранившийся в тайне. Не много открытий, равных по значению вашему. Спасибо вам за это от одного из тех, кому сказка близка и мила... Дмитрий Нагишкин».

«...Обладателю волшебной «Малахитовой шкатулки» от очарованного Федора Гладкова».

«...Самому лучшему, самому настоящему из всего, что я «добыл» на Урале, Лев Кассиль».

С литераторами, живущими в Свердловске, состоящими в одной организации с Бажовым, естественно, знакомства были ближе и короче. Им счет вели не дни, не месяцы, а годы. Павел Петрович всегда был авторитетен, уважаем в среде писателей-уральцев. Среди них едва ли кого-то можно было бы назвать недругом Бажова. И он, как помнится мне, этим именем не называл своих товарищей-однополчан.

Однако же, как водится, без творческих размолвок невозможна жизнь литературной организации, как бы ни была она миролюбива и непогрешима.

Случалось всякое и на Урале.

Павел Петрович, будучи доброжелательным, сердечным, мягким человеком, не принадлежал к тем миротворцам, которые, любя свою организацию, искали смягчающие обстоятельства и снисходительные суждения.

Бажов, не навязывая своих оценок и тем более не администрируя, как отличный педагог помогал увидеть главное, от-

мести второстепенное и найти наиболее правильное, а часто и единственно справедливое решение. При этом не подсказывая выводы, а находя их в совместном обсуждении и коллективной совести.

Об этом рассказывали, писали литераторы, жившие бок о бок с Павлом Петровичем, знавшие его в повседневной рабочей жизни.

Я назову имена тех, кто делился со мной своими впечатлениями о Бажове, о встречах и работе с ним: Ольга Маркова, Борис Рябинин, Виктор Стариков, Юрий Хазанович, Михаил Батин, Елена Хоринская, Иосиф Ликстанов, Евгения Долинова, Николай Куштум... Многих я уже называл в предыдущих тетрадях. Впрочем, дело не в перечислении имен, а в том, что в Свердловске нет имени литератора, имени человека, имеющего отношение к искусству, которое не было бы связано с Бажовым.

Знакомство с Павлом Петровичем, общение с ним, беседы и чтение его произведений не прошли бесследно для литераторов и литературы.

Не всегда возможно, да и нужно уточнять, как, в чем и на ком сказалось творчество Бажова. Кто-то не сумеет, кто-то не захочет этого понять и допустить. А кто-то найдет лестным для себя, если люди в его мастерстве увидят хотя бы тонкую связующую нить с творениями старшего собрата.

Читая далекие от жанра сказа (скажу я для примера) короткие стихотворения Людмилы Татьяничевой, я почему-то часто слышу в них созвучия с Бажовым. Не отзвуки, не вторичность, ни тем более заимствования, а именно — созвучия, в глубоком понимании этого слова. Любовь к родному краю. Прославление труда. Гордость и честь рабочего. Верность долгу. Целомудрие. Неуспокоенность исканий и стремлений. Стойкость. Дух времени...

Бажов принес нам в личине сказа величие высокой простоты. Оно отозвалось и отзовется не только лишь в литературе и искусстве...

Наверно, я не сумел найти достойного определения одному из драгоценнейших даров певца. И кто-то скажет выразительнее о многоцветном спектре резонанса творчества Бажова, узнаваемого мною разнообразно и преображенно.

...Теперь же, возвращаясь к этой главе — «Литературные друзья», побываем на дружеской встрече, где так весело, так молодо и задушевно, что даже торопливый вечер замедлил угасание зари.

* * *

Мне как-то трудно было представить возраст Павла Петровича Бажова, Ольги Дмитриевны Форш, Мариэтты Сергеевны Шагинян... Год рождения как-то в этом кругу знакомых никогда не принимался во внимание.

Помнится мне тихий летний вечер в бажовском садике. Под яблонями тесовый стол и скамьи. Заливистый, высокий смех Мариэтты Сергеевны. Он остался таким и теперь, спустя многие-многие годы. Неутомима в рассказах Ольга Дмитриевна Форш. Не улыбаясь, будто докладывая в каком-то научном обществе, академически безупречно строит она свои фразы, изумляющие тончайшим юмором, изящным острословием или поэтической похвалой. И тем впечатляюще говорит она, тем веселее становится в садике под яблонями, чем серьезнее звучит ее речь.

Несколько лет спустя эта же старейшая среди нас Ольга Дмитриевна Форш открывала Второй съезд писателей в Кремле. Ей уже было много лет, а она оставалась вне их.

Может быть, я нарочито, в порядке возрастной самообороны, гоню от себя представление о старости и внушаю себе картины неувядаемой юности, чтобы обелить и свои годы. Может быть...

Но я же отчетливо помню, как три немолодых собеседника заражали, я бы сказал, студенческим весельем окружающих в этот летний вечер. Кажется, что даже заглохший самовар вдруг начинал «закипать смехом»... И так дотемна. До звезд.

Нет, эти люди неувядаемой юности не смотрелись в зеркало времени. И мне бы хотелось заключить этот крохотный рассказик словами, кем-то сказанными в тот вечер:

«Юность — понятие не только возрастное-паспортное, но и мировоззренческое и мироощущенское».

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Как мог Павел Петрович не дружить с детьми, не быть с ними в самых приятельских отношениях! Ариадна Павловна Бажова рассказывает:

«Контакты с детьми устанавливались мгновенно. Часто ребята подходили к отцу просто на улице. Подойдет какая-нибудь девочка, повернется к нему лицом и, не говоря ни слова, идет, пятясь задом. Мальчишки, как правило, были предприимчивее.

— Это вы, дедушка Бажов? — спрашивал какой-нибудь восьмилетний паренек в картузе.

— Я, а ты кто?

— А я Витька!

— Ну вот, Ридчёна, познакомься, это мой новый приятель. Ты как, Витя, с нами пойдешь или у тебя дела?

— Да нет, с вами пойду.

— Ну, так пошли тогда. Тебе куда надо-то?

— Да просто вас проводить.

— Ну вот и спасибо тебе. А то вот я вижу плохо, так ты мне подскажешь, где мостик, а где канавка. А ты, Ридчёна, тогда на трамвай беги, ты ведь торопишься, мы с Виктором не спеша дойдем, верно?

— Конечно, дойдем. Там впереди бо-о-ольшая канава, так я могу вам и руку дать, а то, хотите, буду портфель нести?

— Да нет, спасибо. Это я и сам донесу, а ты мне лучше вот что скажи...»

И с мальчиком начинается интересный обстоятельный разговор. И я бывал свидетелем таких разговоров.

Чудесный, необыкновенный человек был Павел Петрович, и о нем следовало бы написать роман: «Бажов». А как его написать? Он же весь «вещь в себе», хотя выглядел «вещью для всех», общедоступной и понятной с первого «здравствуйте!».

Таким был он и прежде. Живое доказательство тому недавнее письмо ко мне В. В. В. У него детство значительно отличалось от детства юных друзей Бажова последних лет.

Вася Вопилов, потеряв красногвардейца-отца, двенадцатилетним мальчиком продолжил его борьбу разведчиком, свободно проникавшим в этом детском возрасте в белые тылы, выполняя важные задания командования, узнавая о расположении частей и вооружении врага.

В 1923 году Василий Вопилов был уже секретарем комсомольской ячейки в селе. Вот что рассказывает он о тех днях:

«...Зимой в середине учебного года в нашем селе сгорела начальная школа. Подожгли ее кулаки. Они мстили Советской власти...

О пожаре в школе я написал заметку в областную «Крестьянскую газету.

Для уточнения причин пожара послали в село сотрудника газеты — им был Павел Петрович Бажов. В сельсовете решили приехавшего гостя поместить у зажиточного крестьянина, но Бажов предпочел остановиться у меня. Наша семья жила

бедно. Изба была худая, а на дворе стояли сильные морозы. Павел Петрович устроился ночевать на полатях, а мы с матерью и сестрой — на печи. Перед сном разговорились...

...Он так был встревожен, что не мог уснуть всю ночь.

По инициативе Павла Петровича школьные классы разместили в крестьянских избах. Он помогал собирать школьный инвентарь, сколачивать парты, проявив в этом деле умение и способность. Впоследствии крестьяне добрым словом вспоминали газетного работника, который помог им возобновить школьные занятия. Они тогда не знали, что в прошлом это был народный учитель, а в будущем — известный уральский писатель».

* * *

Это как блик. Как маленькая наглядная справка-картинка о двух-трех днях большой жизни Бажова. Она всегда была у него густой и насыщенной событиями. Если бы через газету «Уральский рабочий» попросить знавших Павла Петровича написать о встречах с ним, то на свердловском почтамте заметно прибавилось бы работы. Отозвались бы и те, кто никогда не писал литературных воспоминаний и был далек от этого. В этом случае сам народ провозгласил бы Павла Петровича народным писателем, каким он был и остается в народной памяти. Называя круг его друзей, знакомых и почитателей широким, я грешу перед истиной. Грешу, чтобы не выглядеть в чьих-то глазах греховным в смысле преувеличения.

Окружение Бажова было не просто широким, а огромным. И тем больше становилось оно, чем знаменитее становился он. И это окружение, как и всякое другое у всякого выдающегося человека, не было лишено некоторой пестроты и весьма своеобразных черт.

ФЕДОР КОПЫТОВ

Павел Петрович не избирал круг знакомых. Он возникал сам по себе. Сами по себе появлялись и друзья. Например, мне хорошо запомнился Федор Копытов.

Федор Григорьевич Копытов в годы гражданской войны был боевым, смелым комиссаром, хаживавшим в неравные и победные бои. Смелый и «нутрянно чуткий» — таким он остался и на издательской работе.

— Конечно, я никакой не литератор,— признавался мне

Копытов в откровенных беседах.— Но ведь, понимаешь, в этом тоже есть свои какие-то преимущества. Я о рукописи сужу как о рукописи. Как о данном произведении, без привходящих привходящестей. И если плохо написано, так для меня не указ, что его имя в «Литературной энциклопедии» напечатано во всех падежах. У меня свои падежи... Ты только не смейся. Именительный падеж для меня всего только визитная карточка автора. Кто он. Откуда. Чем дышал. С кем дышал. Для кого дышал. Но это тоже не из существенных падежей. Другое дело: родительный, дательный, творительный и предложный. Что родил на бумаге? Что дает его новая книга? Какова его общественная творительность в данном случае? Что предлагает он издательству, за которое я отвечаю? А отсюда я прибегаю к винительному, или, лучше сказать, судительному падежу. Ошибаюсь, конечно... Бывает. Но ведь в издательстве не один я. И главный редактор есть, и старшие, и средние, и младшие редакторы. У каждого из них тоже свои «падежи», и в том числе «косвенные», но «грамматика» от этого в конечном «множественном числе» не страдает.

Этот монолог я также привожу по моей памяти, чреватой неточностями стенографических подробностей, но не сути, сохранившейся в ней.

Было время, когда по всем этим «падежам» глухо оценивали сказы Павла Петровича и не «именительно» по причине его малоизвестности и не «предложно» в смысле предложения его в план изданий, в смысле включения в план изданий.

И не кто-то, а Федя Копытов, так иногда дружески ласково называли друзья своего батальонного комиссара, считавшего себя «никаким не литератором», по своей «нутрянной чуткости», увидел, как несправедливо замалчиваются творения Павла Петровича, и приказал: «Батальон, слушай мою команду!»

Сказы Павла Петровича появились в печати.

Не вспомнить Федора Григорьевича Копытова, не назвать его первоиздателем — значит говорить о «малахитовом взрыве» большой силы, забыв, чья рука подожгла бикфордов шнур.

Его имени Павел Петрович всегда касался мягко и наставительно:

— О Копытове никому не запрещено судить по-своему, только судитель должен принимать во внимание, что «при всем при том, при этом» осечек у Федора Копытова не было. Не было, когда он решительно отвергал ту или иную рукопись

и когда наперекор многим другим давал ей «зеленую улицу». А вообще-то говоря, писатели издателям пристрастные судьи. И когда хвалят... И когда ругают... Я сам сидел на издательском стуле с острыми гвоздями. И знаю, каково это сидение. Раньше, к примеру, демократичнейший по тем временам издатель Сытин не брал рукопись, и все. «Не подходит! Сожалею, но не возьму!» Теперь же издатель должен объяснить, почему не берет рукопись. И это правильно, но не всегда возможно. Например, вам,— он указывает на меня,— работающему профессионально, и то бывает затруднительно сказать, что вы написали ниже своих возможностей, хотя и явно видно, что написанное не только ниже возможностей, но и ниже невозможностей. Попросту говоря — плохо. Вы попетушитесь и в конце концов поймете, что вам не желают зла. А вот как объяснить человеку, который не может понять? У него нет этого понимания. Ему нечем понять. Он самовлюблен до умопомрачения. Ему даже вопиющее нарушение синтаксиса кажется его новаторским стилем, шагом вперед, борьбой с рутинерством и... И шут его знает еще чем. Именно такие, находящиеся на перекрестке литературной иногда подсознательной клептомании, завораживающей графомании и прочих вторичностей, повторностей, и третируют честных нелицеприятных Федоров Копытовых, без которых в том или ином ранге невозможно в наши дни издательское дело.

Прочитав вышесказанное Павлом Петровичем, я тоже прошу его принять с поправочным коэффициентом на давность и невозможность поэтому дословного запоминания.

ТРУДНЫЕ ЗНАКОМСТВА

По всей видимости, Бажову не раз и не два приходилось встречаться с одержимыми сочинительством, и у него выработался своеобразный иммунитет против такого рода пишущих, а вместе с этим терпимость к ним и даже некоторое сочувствие.

Бажов почти не возмущался, когда явно несостоятельный автор начинал захлебываться «одами себе». Припадочно читать несусветное. Сравнивать себя с великими именами прошлого. Требовать чуть не коронования гением. Не видя, не понимая своей «жалкости».

— Как вы можете так, Павел Петрович?

А он мне:

— Человек же! Его под каким-то углом зрения слушать так же полезно, как и читать графоманскую рукопись. Через нее тоже виден классически выписанный персонаж: сам он, выложивший свои идеалы на бумагу.

И далее начинался разговор о том, что рукописи графоманов всегда сугубо индивидуальны, всегда написаны своим почерком, через свое миропонимание. Бажов совершенно серьезно говорит:

— Я бы лично издал библиотеку романов графоманов, небольшим тиражом, только для серьезных и глубоких профессиональных писателей. Полезная бы получилась библиотека. Многие бы из пишущих увидели в ней кое-что свое, гиперболически доведенное графоманом до тошноты... До зеленой рвоты... И вам бы, строгий судья, тоже не помешало бы чему-то удивиться в этой библиотеке и от чего-то малость покраснеть.

Бажов тихонечко дергает меня за ухо и неторопливо перечисляет некоторые избранные образцы графомании в мировой литературе, в русской и современной. Это звучит неожиданно, в чем-то кощунственно. Но, перечитав названное, которое я тоже не назову, да и многие не захотят назвать, видишь, что выглядит это графоманией чистой воды. Как восковое яблоко, притворившееся живым. Как чай с сахарином, принимаемый за чай с сахаром.

— Не такое простое явление, друг мой, одержимость графоманией, и оно, как и всякое психическое заболевание, с трудом поддается излечению, а иногда и начисто неизлечимо,— резюмирует Бажов.— Оно сплошь и рядом проявляется в таких видах, что и опытный редактор оказывается иной раз растерянным диагностиком.

Бажов в этом смысле диагнозы ставил почти безошибочно, хотя и не объявлял об этом. Видимо, действовало старое правило: «От того, что темного человека назовешь темным, он от этого не посветлеет, если же осторожно хотя бы немного просветишь его, пусть на искорку, то добавишь ему света».

Умение Павла Петровича, а может быть, его природный дар не быть в тягость другим — завидная черта характера Бажова. Он почти никогда не переносил на своего собеседника плохого самочувствия, не жаловался на болезни, а они были, начиная с трагической болезни глаз.

Разные люди окружали Павла Петровича: и очень скромные, бескорыстные друзья, и любители погреться в лучах чужой славы, и настоящие почитатели его многогранных да-

рований и «себенаумейные урыватели елико возможного». Что перепадет, то и ладно. Были и откровенные льстецы и подлипалы, но были и чистосердечно удивляющиеся, а то и недоумевающие: «За что ему это все?»

И это неизбежно для всякого широкоизвестного человека. От этого не убережешься. И Павел Петрович не берегся. Он остался тем же даже внешне, разве что не носил сапог, заменив их ботинками, да на смену его блузе пришла скромная, с глухой застежкой куртка типа кителя. Пиджака он не носил.

— Галстук, понимаете, при нем надо,— объяснял он мне, рачителю современной столичной экипировки Павла Петровича.— А я его, во-первых, лет около сорока не носил... Во-вторых, его под бородой все равно не видно и, в-третьих, завязывать и развязывать... Ну его.

В этом был какой-то резон. Мало что изменилось и в общении с людьми.

В массе, в подавляющем большинстве знающие Павла Петровича любили его. По-разному, но любили. Одни за книги, другие — за его человеческие качества, третьи — потому, что такого положено любить: «Любят все, зачем же мне быть исключением... буду любить и я».

А были ли у Павла Петровича недруги, завистники? Были! Их и не могло не быть. Христос и тот был не без Иуды. Ненавидеть Павла Петровича едва ли было можно. Для этого у него просто-напросто не было данных, а вот недооценивать, завидовать... находили основания.

В самом деле — жил-был в Свердловске самый что ни на есть тихий, хороший, приветливый, свойский человек Бажов. Звезд с неба не хватал, да и хватать не стремился. Писал. Печатался. Редактировал, и вдруг... И вдруг на́ тебе...

И как-то один из таких непосредственных недоумевателей доверительно и фамильярно попросил меня:

— Поговорим малость. Голова-то у тебя, поди, не совсем закоптела... Ты ведь не из малосольных опят,— польстил он мне,— а, можно сказать, до хруста просоленный прикамский груздь,— намекнул он на знаменитую поговорку о пермяках,— скажи мне на милость, старому грибу, который с Пашкой Бажовым чуть ли не в бабки играл, за что ему такая честь? Не выдумали ли мы его из каких-то соображений...

Меня от этих слов, говоря языком моего вопрошателя, «онемтырило невпродых». Я не нашелся от неожиданности и прямолинейного цинизма. А он:

— Отмалкиваешься, значит... Оно и понятно: вместе ведь

закусываете. А я не молчун. Не пойму, какое такое всесоюзное достижение караульщиков брёх на Думной горушке на свой лад перелопатить? И ты бы мог не хуже. Я-то — нет. У меня-то бы балагурства да и времени недостало...

На этом разговор и кончился. Я прекратил его. Зная, что в таких случаях либо (скажу его же словами) «дают по сопатке», либо терпеливо и подробно объясняют. Первого я сделать не мог, потому что разговаривавший со мной — человек хороший, не зловредный, он просто предельно ограничен. По этой же причине я не мог прибегнуть ко второму, разъяснительному способу. Он бы не понял. У него, что называется, тоже было «нечем понять». Он чистосердечно не понял бы. Не понял так же бы, как одна ядовитенькая, самовлюбленная старушечка с жальцем вместо языка, встреченная нами в вагоне электрички.

ЯДОВИТЕНЬКАЯ СТАРУШОНОЧКА

Мы ехали с Павлом Петровичем в Тагил. Напротив нас сидела маленькая, сухонькая, остроносенькая, с «зыркими» глазками, старушоночка в оренбургском пуховом платке. Она долго разглядывала мою наружность, прислушивалась, как я полушепотом напеваю Павлу Петровичу новые куплеты для агитбригадного обозрения, спросила меня:

— Вы, случа́ем, не в цирке представляете?

— В цирке,— отмахнулся я.

Старуху это заметно обрадовало.

— Очень приятно увидеть вас в своей одежке, а не в клоунской, товарищ Карандаш.

Бажов хихикнул, потом закатился в смехе до кашля. Она тогда спросила меня, кивнув на Павла Петровича:

— При вас веселый старичок состоит?

— При мне,— отвечаю я, развеселившись.— Песенки разные, байки придумывает.

— Это хорошо, что придумывает. Голова, значит. И у нас в Свердловском баешник есть. Только он без придума, готовые байки берет. Услышит какую побасее, живехонько в тетрадочку занесет, а потом начисто перемахнет на хорошую бумагу и в «Уральский рабочий» стащит.

Павел Петрович давно уже прокашлялся. Смутился. Он о чем-то хотел спросить старушечку, да я опередил его:

— Кто же это такой?

— Бажов,— ответила она.— Слыхали, поди... Приставительный, сказывают, Еруслан Лазарич. Чернобородой, как цыган. Вокруг него наше сословие роем вьется, ящерками мельтешат.

Павел Петрович встал и сказал:

— Разрешите мне, дорогой товарищ Карандаш, покурить в тамбуре, а вы пока побеседуйте с этой хорошо наслышанной женщиной.

И я побеседовал. Оказалось, что она, живя где-то за ВИЗом (Верх-Исетским заводом, примыкающим к Свердловску), могла и не знать в том, 1942 году лица Павла Петровича. Его портреты тогда еще не печатались. Но могла и знать, притворяясь незнайкой, чтобы ужалить его.

Зачем же ей понадобилось так говорить? Объяснение нашлось сразу же. Она сказала:

— Я ведь страсть сколько такой чепушины знаю, да еще позагвоздистее, да и поскладнее малахитового баянья. Тоже книжку хочу свою, «Золотую шкатулочку». Да внучка еще только в третьем учится, а я шибко ошибочно пишу, да и линовальной бумаги не стало. У меня, не знаю как вас по батюшке звать, нашелся бы и для вашего потешного ремесла хохотальный сказанец-леденец. Про одну красоточку-прихохоточку. Нежелательно ли послушать один-другой мой семицвет... До Тагила-то еще многонько осталось...

В этих или в других словах, оговорюсь снова, пересказываю я эти монологи старушечки в оренбургском пуховом платке, какие носили при царе жены удачливых мастеров, но в этом роде. И когда она размотала свою пуховую драгоценность, чтобы не так жарко было рассказывать свой «хохотальный сказанец-леденец», я тоже встал и ушел, сказав, что мне тоже «приспичило покурить». Найдя в тамбуре Павла Петровича, перешел с ним в другой вагон.

Как будто не произошло ничего особенного, но было горько сознавать, что такая «ценительница» не одинока. Вспоминая о ней, не для одного лишь разнообразия моих биобиблиокритических страниц я хочу заметить: Бажова как писателя либо понимают и принимают сразу, раскрыв для него объятия, либо — никогда.

Не одинока и теперь эта старушечка-похвастушечка. Живет она разнополо и разновозрастно и так же грозится написать поскладнее да позагвоздистее «малахитового баянья». И очень хорошо. Никому и никто не мешал и не мешает и теперь, спустя столько лет, написать рабочие сказы по фольклорным мотивам. Их же сотни. В каждом старом заводе.

И кое-кто занимается этим и публикует сказы, но почему-то нет книги, подобной «Малахитовой шкатулке» или хотя бы приближающейся к ней. Нет же, нет!

Ее мог написать только человек, в котором, кроме большого таланта, счастливо слились: блистательный язык, трудолюбие, знание края, социальное происхождение и богатейшие накопления литературных познаний, начиная с античных времен, мифов седой древности. Среда, в которой он был не в творческой командировке, в самом лучшем понимании этого слова, а родился, жил в ней и был безраздельной, органической частицей рабочего класса Урала до последнего дня своей жизни.

Мне для своих глаз свидетели не нужны, как и толкователи. Для меня после Мамина-Сибиряка второго писательского уральского имени пока нет. Другое дело, что Бажов не доцвел и в чем-то не расцветал, и если бы это произошло... Впрочем, зачем нумеровать литературные светила.

Теперь о московских друзьях.

МОСКОВСКИЕ ДРУЗЬЯ

С каждым приездом в Москву Павла Петровича у него в гостинице можно было встретить новых знакомых. Здесь бывал тогда еще сравнительно молодой композитор Тихон Хренников. Здесь делал карандашный портрет Бажова художник Яр-Кравченко. Обязательным гостем был Александр Максимович Ступникер, переписывавшийся с Павлом Петровичем, редактировавший в «Огоньке» и его библиотечке сказы Бажова. Надо сказать, что первопечатание сказов было чаще всего в газете «Уральский рабочий» и в журнале «Огонек».

В Москве Павел Петрович познакомился с Михаилом Александровичем Шолоховым и выпил заздравную. С каждым приездом Москва становилась знакомее и ближе. Все же однолюб Павел Петрович всегда был верен первой любви к родному Свердловску (Екатеринбургу).

«В гостях хорошо, а дома лучше». Какой ни дорогой гость Бажов в Москве, подолгу здесь не гостил.

— Провинция я, глубокая провинция,— шутил Павел Петрович,— не могу привыкнуть к шумам и темпам столичной жизни.

Я как-то сказал:

— Переезжали бы в Москву, Павел Петрович... Здесь и нужные доктора под рукой, и журналов тьма...

Павел Петрович обиделся даже. Не дал договорить:

— Ишь куда вас занесло...

Не всегда Павел Петрович останавливался в гостинице «Москва». В один из приездов, когда война шла к концу, он жил в нашей старой маленькой квартире в Хлыновском тупике у Никитских ворот. Радости не было края. Дети же у нас. В квартире такой милый, такой знакомый гость. Центральное паровое отопление грело не каждый день и не круглые сутки. Павлу Петровичу жена отвела самый теплый и самый изолированный «апартамент». Кухню. Там дровяная плита. Тепло. Уютно.

Кухня как-то сразу ожила и преобразилась с его приездом. Кухонный столик стал письменным столом. Появились знакомые и дорогие нам вещи. «Двухпудовый» портфель Павла Петровича, его пыжиковая шапка-ушанка, его... кашель и даже знакомый аромат трубочного дыма.

Курил тогда Павел Петрович табак-самосад. И рассаду сам выращивал, и гряды готовил сам. Сам «вялил», сам «томил» и сам рубил свой табачок.

В чужих семьях Павел Петрович жить не любил. Даже ночевать у товарищей не оставался. По этому поводу он говаривал: «Самостоятельный человек хоть на бровях, да должен прийти домой».

Но если он появлялся в другой семье, его присутствие никогда не было в тягость хозяевам. Он, входя в семью, сразу брал на себя часть тягот и обязанностей этой семьи. Так было и на этот раз. И на этот раз подробности и мелочи характеризовали Павла Петровича с самой наилучшей стороны.

Утром моя жена проснулась рано, чтобы затопить плиту и чтобы Павлу Петровичу было не холодно вставать. Но в кухне было тихо.

«Значит, спит»,— подумала она и не захотела входить, боясь разбудить Павла Петровича, встававшего обычно не ранее девяти утра, так как режим его работы был, как мы уже знаем, ночным.

Стоя у двери, Маша ждала шорохов пробуждения. Потом услышала звяканье посуды. Постучалась. Вошла. Послышался хохот.

Оказывается, тот и другой играли в прятки. Павел Петрович давным-давнешенько встал, оделся, умылся, затопил плиту, сварил картошку, поставил самовар, расставил чайную посуду, боясь разбудить жену и дочерей, произвел эти операции с изумительной бесшумностью.

В нашей семье любят рассказывать об этом утре. Здесь же где-то рядом стоят и другие воспоминания. Сказочные.

Моя младшая дочь, Ксения, как и все дети дошкольного возраста, любила сказки. А Павел Петрович знал их уймищу. И не столько знал, сколько выдумывал.

Вечер длинный. Дочурка сидит у него на коленях по часу, а то и больше. За пять таких вечеров сотней сказок не отделаешься. Вот и приходилось ему придумывать. Это были изумительные сказки. Не сказы, а сказки. Но от них в памяти остались только жалкие обрывки.

Знать бы, как повернется дело, записать бы хотя их сюжеты — какая-то бы, наверно, осталась памятка о сказках-экспромтах.

Не дорожили мы огнем живущих, не берегли его, да, пожалуй, и сейчас так же иногда поступаем.

Умение быть не в тягость, а в радость людям — это, мне кажется, одно из важных достоинств всякого человека. Что может быть радостнее, когда тебе рады.

Павел Петрович знал «холерический» характер некоторых его московских знакомых, которые начинали волноваться, приходить в дурное настроение, когда гость запаздывает хотя бы на пять минут.

Поэтому Павел Петрович, как-то придя к нам, сказал:

— С запасом на пятнадцать минут раньше пришел, чтобы «миленьких сумасшедшеньких» из тихого помешательства в буйное не возводить.

Предупредительность к людям — за столом, на улице, в трамвае, на собраниях — никогда не изменяла Павлу Петровичу. Не всегда эта предупредительность приносила ему радости. Находились люди, которые ему садились на шею. В этом, наверно, где-то повинен и я.

В череде вечеров, проведенных вместе с Павлом Петровичем, вспоминается еще один, похожий на новоселье, в нашей новой квартире на Мерзляковском. Я хотел сюрприза для Павла Петровича. Пригласил тех, кого он любил, и кто нежно любил его, и с кем в Москве он виделся редко и «накоротке»,— это Лев Степанович Шаумян и Елена Юльевна Шаумян, Дмитрий Алексеевич Поликарпов и Антонина Федоровна Поликарпова.

«Гостевания» такого рода, где ужинное застолье, где семейный разговор, женский и мужской, как будто к литературе не имеют прямого отношения, между тем очень многие и немаловажные литературные разговоры, обмен мнениями, творче-

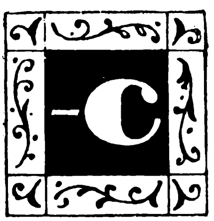
скими замыслами, критическими суждениями происходят и на таких семейных встречах.

Таким и был этот, кажется, последний вечер в таком приятном для Павла Петровича обществе Поликарповых и Шаумянов. Никто и не думал тогда, что для всех нас, московских друзей Павла Петровича, декабрь 1950 года будет траурным, хотя и...

Хотя и здоровье не было многообещающим, но все же позволяло ему и нам говорить о его 57-м сказе, о 58-м, 59-м и провозглашать здравицу за 100-й сказ, в который верилось и не могло не вериться людям, убежденным, что «старое дерево, хотя и надсадно скрипит, но долго живет».



ВТОРОЕ ЦВЕТЕНИЕ



мотрите, как прекрасен закат. Земля будто отразила на небе все красные и розовые яшмы. Почему вы, Павел Петрович, так мало уделяете внимания пейзажу, особенно небесному?

— Поэтому и уделяю мало внимания,— сказал мне Павел Петрович,— что для вас закат один, а для меня другой, а для третьего человека — третий. У всякого свой образ.

Затем последовало пространное суждение о восприятии природы каждым по-своему. И Павел Петрович заключил примерно такими словами:

— Я не хочу и, мне кажется, не имею права навязывать своего видения в это широкое, свое в каждом отдельном случае, эстетическое наслаждение окружающей природой. Пусть каждый любуется природой так, как ему позволила эта природа.

ЧЕРЕМУХА В СНЕГУ

Вскоре мы — Павел Петрович, Виктор Васильевич Данилевский и я — отправились на родину Мамина-Сибиряка в Висим. Павел Петрович заботился о его памяти. Нам захотелось побы-

вать в местах, где протекало детство певца Урала, где зарождались его творения.

В Висим мы поехали через Нижний Тагил. Тагил с Висимом связан узкоколейкой. Дорога идет мимо старых демидовских, ныне заброшенных уже заводов. Эти места все еще оставались краем непуганых птиц. Зеленый разлив лесов. Могучие, в рост человека, лесные травы.

Стояло бабье лето. Погода выдалась на редкость теплой. Было на что посмотреть из окон вагона в эти сентябрьские дни...

Березы, пожелтев до цвета золота, не теряли листвы. Они красовались там и сям солнечными кострами в смешанном лесу. Фиолетово-красные осины. Коралловые плоды рябины. Деревья, будто нарядившись в самое лучшее, торжественно праздновали «пышное природы увяданье».

Карнавал лесных нарядов и запахов! Здесь все цвета, все краски, кроме белой, все ароматы, кроме весенних...

Где-то на полпути к Висиму Павел Петрович насторожился, стоя у окна, и позвал меня:

— У вас помоложе глаза, гляньте. Не черемуха ли зацвела?

— Точно! — отозвался главный и единственный кондуктор.— Во всю головушку цветет. Диву даешься, какая нынче осень.— И старик принялся вспоминать, как в дни его юности также однажды осенью цвела черемуха.

Павел Петрович попросил остановить поезд. Поезд узкоколейки состоял из одного вагона, едва ли больше нынешнего рижского автобусика «РАФ». Паровоз напоминал положенный набок увеличенный самовар с загнутой в небо трубой. Это был почти игрушечный поезд. Рядом с высоченными деревьями он выглядел почти таким.

Кондуктор «два пальца в рот» и свистнул машинисту. Машинист отозвался гудком, похожим на синичий писк, и остановил свой «самовар на колесах».

Мы вышли. В низинке, в месте, защищенном от ветров, цвела черемуха недвусмысленно вызывающе и зазывно.

Павел Петрович подвел меня к белому кусту.

— Вот, — сказал он, как бы продолжая недавние суждения о восприятии природы каждым по своему внутреннему миру,— сколько человек ни подойдет к этому кусту, у каждого возникает особенное — свое. Для одних это будет репортерская заметка, для других — сенсационная статья в уголке натуралистов, а для третьих, может быть, — повесть о второй любви...

А может быть, и роман о позднем цветении человека... Скажем, композитора или архитектора...

Я ничего не сказал на это, глядя на белый цвет черемухи, на белые волосы, белую бороду Павла Петровича. Ничего не сказал и думал о своем.

Данилевский, наверно, тоже думал о своем, как и кондуктор, который не скрывал своих мыслей:

— Цвет-то ядреный-разъядреный, как весной, а ягод не будет. Заморозки не дадут. Пора уж... Бабье летечко большому лету пятки кажет — прощается, а руками зиме машет — здравствуется.

Поезд пошел дальше, и чем ближе к Висиму, тем чаще попадались кусты цветущей черемухи.

На второй или на третий день мы направились из Висима на рудник «Красный Урал» на лошадях. Теплые ночи и жаркие дни добавили цвета черемухе, особенно в тихих логах, куда не залетал ветерок. Местами черемуха цвела буйно, как весной.

— Холод не даст ей во всю силу доцвести,— повторил Павел Петрович, вспомнив сказанное позавчера стариком кондуктором.

— Может быть, еще постоят хорошие дни,— не очень уверенно сказал я, снова посмотрев на седину Павла Петровича, и заверил: — Определенно еще будет много таких дней.

В полдень посерело небо. Заморосило. Дождь неожиданно перешел в снег. Такое случается на континентальном Урале.

Рыхлые белые хлопья падали на цветущую черемуху. Лес и кусты белели на глазах. Вскоре нельзя уже было различить, где снег, где кусты черемухи. И казалось, чем обильнее шел снег, тем сильнее цвела чермуха. Цвела снегом, умертвившим ее цветение.

* * *

Не знал я, передавая этот рассказ «Черемуха в снегу» тогда еще совсем юному Юрию Серафимовичу Мелентьеву, редактору свердловской комсомольской газеты «На смену», судьбы его. Он, близкий к Павлу Петровичу, называя рассказ жизнеутверждающим, тоже не мог знать, как и я, что этот рассказ послужит прелюдией к печальным главам этой последней тетради.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД В МОСКВУ

Не помню точно числа конца октября 1950 года, когда еще накануне и особенно утром наша семья готовилась к встрече Бажовых. Мы знали, что любит Павел Петрович, и готовили пиршественный завтрак.

Бажовы прямо с поезда должны были приехать к нам на Мерзляковский, а потом уже, смотря по состоянию здоровья... Предполагалось, что Павел Петрович ляжет на исследование в больницу.

Были приглашены знакомые Павла Петровича. Они всегда приглашались для него. Но это вечером. А днем придут поэт-свердловчанин, поселившийся в Москве, Константин Мурзиди и Павел Филиппович Нилин, он тоже пойдет с нами встречать Бажовых на вокзал и как знакомый их дома, и как руководитель так называемой областной комиссии Союза писателей, которая предшествовала созданию республиканского Российского союза писателей.

И вот мы на вокзале. Октябрь еще не кличет зимы. Подходит поезд. Подходит медленно, сердя нетерпеливых. Считаем номера вагонов. Находим нужный. Теперь просматриваем вагонные окна. В одном из них он. Уже одет. И очень тепло. Конец этого месяца в Свердловске — начало зимы.

И как всегда: «Здравствуйте! С приездом! Хорошо ли доехали?» — обычные фразы. Поцелуи, объятия. Затем торопливое информационное сообщение о наличии накрытого стола.

Павел Петрович довольно бодро направляется к выходу из вокзала. Там ждет такси.

Кажется, все идет, как намечалось, как желалось, если бы не появившийся человек в белом халате. И не один.

— Вы Павел Петрович Бажов?

— Так точно. Я Бажов.

Далее вопросов не последовало. Тут же неподалеку на перроне оказался автомобиль для перевозки больных.

— Куда же вы его?

— Как — куда? Туда, куда предписано.

Встречающие, едва поздоровавшись, наскоро простились и пожелали всего, чего в таких случаях желают.

Я этого не ожидал.

Дома ждали празднично накрытый стол и непрерывные телефонные звонки. Друзья и знакомые спрашивали о приезде Павла Петровича и хотели услышать его голос. Никто же не

думал, что больница заберет к себе Павла Петровича, что называется, без пересадки.

Телефон с того дня умолкал только ночью. Подходили жена Павла Петровича и дочь. Они поселились у нас.

БОЛЬНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Павлу Петровичу предоставили отдельную палату, и если б не белая плитка на стенах (в этой комнате была до этого какая-то процедурная), то как в гостинице. Только вход по пропускам и ограничено число навещающих. А это затрудняло встречи. Желающих навестить куда больше, чем возможностей пропустить их, но я видел Павла Петровича почти ежедневно. Через окно. Один из фасадов здания больницы выходит на улицу Грановского. В назначенные часы Павел Петрович ожидал у окна.

Сама собой выработалась «словесная жестикуляция», разговор пальцами. Пусть такой разговор был не так многословен, как у глухонемых, но и не так беден словами, как у далеких предков.

В будни выдавались такие часы, когда в одиночную палату, где посетитель не мешает другим больным, можно было проникать на длительное время и разговаривать не на столь первоочередные и насущные темы. Например, о Лескове. Я знал, что Павел Петрович недолюбливал Лескова. И я не боготворил его, боясь в этом признаться при посторонних. С одной стороны, богатейшее богатство русского языка, а с другой — выдумывание слов и словообразований, каких нет, не было и не может быть.

Ну, скажите, пожалуйста, зачем «мелкоскоп» вместо — микроскоп, зачем «двухсестная карета» вместо двухместной, зачем «тугамент» вместо документ. Так можно и телескоп превратить в «дальнескоп» и политехникум в «полутехникум», миноносец — в «мимоносец», но зачем?

Разговаривая так, Павел Петрович забывает, что мы в больнице, а я забываю, что он больной и бестактно — что мне было всегда присуще — опять напоминаю Павлу Петровичу об остаточных следах узаконивания в литературе краевого произношения слов, переносимых в сказы, во всей их фонетической неприкосновенности.

— Я не против, Павел Петрович, этого как декорума, но все же в кавычках.

Павел Петрович в чем-то соглашается, с чем-то спорит. Но одно его особенно настораживает: сказов Павла Петровича почти нет в учебниках и хрестоматиях. А ведь как будто при такой славе для этого есть основания. И он говорит:

— Выйду из больницы и заново пройду по всем сказам, особенно по первым.

Павел Петрович верил, что излечение близко. И в самом деле: глаза стали видеть лучше, сил прибавилось, температура нормальная...

— Надо, чтобы болезни боялись нас, а не мы их,— говорит он.— Смотрите, как храбро им противостоял Коц.

Имя Аркадия Коца (Данина), может быть, вам не приходилось слышать. Оно не широко известно в литературе, но знаменито. (См. 18 том БСЭ довоенного издания, стр. 283, первый столбец, предпоследний абзац, там называется его имя.)

Я с ним познакомился в Свердловске. Бывал он и у Павла Петровича, Коц имел прямое отношение к литературе. Он не так много написал и, кажется, мало перевел, но у него есть перевод, который знает каждый гражданин нашей страны. Это перевод бессмертного произведения Эжена Потье, которого Владимир Ильич назвал «одним из великих пропагандистов посредством песни». Одну из них Коц перевел на русский язык. Она называется «Интернационалом». Международным пролетарским гимном и партийным гимном КПСС.

В Свердловске Коц заболел, и болезни привели его потом на свердловское кладбище, где не забыта его могила, но, кажется, не так уж заметно увековечена надгробием. Коц был очень жизнелюбив и пренебрежителен к смерти. Сидя у меня в 153-м номере гостиницы «Большой Урал», он мне прочитал стихотворение о своих болезнях, из которого особенно запомнились две строки:

Два земноводные в меня впились:
И рак, и жаба...

Я не берусь их комментировать. Мне тогда было не по себе. В этом трагическом «юморе» было что-то, что невозможно для меня правильно оценить и теперь.

Бажов знал эти строки. Они вспомнились ему в больнице. Вспомнились, может быть, и не без подозрения на одного из этих «земноводных» в себе.

Но он не верил, не верил и я. Валентина Александровна, как мне стало известно, была предупреждена еще в Свердловске о предварительных диагнозах врачей (врачи всегда выра-

жаются смягченно) еще не установленной (какой обнадеживающий термин!) болезни.

Надо удивляться твердости характера этой женщины и ее умению и такту даже не обронить намека в нашей семье о трудноизлечимом, особенно в те годы онкологической беспросветности.

Стоило только намекнуть Валентине Александровне, как не я, а мои проговаривающиеся, не умеющие хранить тайн глаза выболтали бы проницательным глазам Павла Петровича все. И не было бы у него тех сравнительно сносных недель, иногда перемежающихся и очень веселыми днями. Почему-то, думая о Валентине Александровне, я вспоминаю строки стихотворения «Белое покрывало» из старого сборника «Чтец-декламатор». Стихотворение кончалось такими строками:

Так только мать могла солгать, полна боязни
Чтоб сын не дрогнул перед казнью...

В жене всегда живет и мать по отношению к своему мужу. И Валентина Александровна была ею по отношению к Павлу Петровичу.

Мудрый, терпеливый, мужественный, он оставался и большим ребенком. Отроком, во всяком случае.

РАССУЖДЕНИЯ О СКАЗКАХ

Застарелые, закостенелые, захрящевевшие, окаменевшие люди не пишут сказок. Им нечем писать. В их душе нет высокой и драгоценнейшей восторженной легкости мысли, мальчишечьей способности поверить, что ель может разговаривать, а камень цвести, а пламя костра оживать огневушкой-поскакушкой, а лебеди указывать путь в незнакомый край... Кончи пять гуманитарных факультетов, перечитай всю мировую сокровищницу сказок, но если ты не можешь поверить, что трехногий рояль вчера ходил на свиданье к молоденькой виолончели или марокканский лимон, однажды разболтавшись, рассказывал, сколько в нем целебных свойств и каких, о которых не знают и в Академии наук,— ты не напишешь сказку, которая бы тронула чей-то ум, чье-то сердце и осталась жить.

Литература — это таинство. Так не говорил Бажов, говорю я, потому что у меня нет подтверждения, что это его мысли.

Но так он считал, если вы скоординируете высказываемое им и опубликованное.

Он поэзию называл высшим жанром, вершиной, а про себя знал, что вершина литературы — сказка. Придумайте вторую «Золушку», или «Новое платье короля», или сказку «Конек-горбунок». Что в нем особенного: «Против неба, на земле, жил старик в одном селе». Кому словес недоставало написать такие стихи:

Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк...
Младший вовсе был дурак.

Напишите и заставьте их жить в многомиллионных поколениях и миллиардных тиражах, если принять во внимание радио и телевидение, которые смотрятся и слушаются столькими людьми, что не изобретена пока такая кибернетическая машина, которая может учесть это, хотя бы округленно.

Сказка — родоначальный жанр. Жанр жанров. Жанр-мать. Жанр-семя. Жанр — атом замедленного действия. Жанр — искра божия. В одних случаях, на одном этапе она «Курочка ряба» или «Лутоня». На втором — «Былина о трех богатырях». На третьем — «Сказание о граде Китеже». На каком-то еще — «Князь Серебряный». На каком-то еще и еще — «Дон-Кихот», «Собор Парижской богоматери», «Гамлет, принц датский», как, впрочем... На этом я остановлю свои перечисления, чтобы не дать повод назвать гиперболой непреложную не только для меня истину.

Уровень, объем и звучание — несоизмеримы, но природа одна и та же.

Павел Петрович этого не говорил, но проговаривался. Он знал, что писал, во сколько глубин и какой дальности полета.

Сколько лет уже живет в литературе Медной горы Хозяйка, а не познается до конца. Носит в себе свое очарование, которое, не раскрываясь полностью, приоткрывается для всякого и по-всякому, и чаще всего той, что видится, грезится и живет въяве.

Такой ли она пришла в чернильницу Павла Петровича? Такой ли робко зачалась в древней молве? Не переплавил ли ее в пламени своей души Бажов, «отшлаковав» от нее все лишнее и вдунув в нее живую душу?

Никогда не устану повторять слова, сказанные писателем Петром Андреевичем Павленко: «Если ты не горишь сам, то как (чем) ты зажжешь другого?»

Данило-мастер — это сам Бажов, в каком-то аспекте, если так положено говорить.

Тимоха из «Живинки в деле» — тоже Павел Петрович, ищущий, страдающий, радующийся, недовольный и счастливый. Такой он и здесь, в больнице. Внутри него боль. В изголовье его иногда по ночам чуется тень той, которая, как и жизнь, к человеку приходит однажды. Один-единственный раз. А он живет в пятьдесят восьмом или, может быть, семьдесят третьем сказе, у которого нет пока названия и все в нем сумеречно, но луч разума, творческого, раскаленного до искрения разума, просветляет пядь за пядью сказ, рождающийся, как и все земное, в темноте.

А наутро или через утро прихожу в палату я, или кто-то еще, или просто сестра, измеряющая температуру. Павлу Петровичу — я-то уж знаю — очень хочется поделиться найденным, увиденным, просветленным наедине... Но...

Но как поделишься еще не рожденным, еще вынашиваемым и, может быть, обреченным умереть, как бывало и как не может не быть со всяким рождающимся, но еще не родившимся. «Езда же в незнаемое». Да и всяко бывает... Можно и спугнуть как золотой сон задумываемое... Бывало и у него. Все бывало! И змей-полоз ходил в антикаких-то мистических пережиточных чудищах. И прекрасная Малахитница тоже причислялась чуть ли не к потусторонним, сатаническим, иллюзорным силам, порожденным суеверием и «силой слабости», как и всякий бог.

А я сижу и молчу. Догадываюсь, предполагаю и ошибаюсь или снова убеждаюсь... А что я мог сказать, зная, что поэт творит всегда в одиночку и, как женщина, отдает часть своей жизни, и только своей, рождаемому им.

Дни идут, как в больнице, так и у нас на Мерзляковском. Ежедневная почта Павлу Петровичу. Ежедневный приход знакомых и незнакомых, справляющихся и узнающих. Уже привычны свердловские звонки. Дома никогда не бывает пусто, хотя он и населен пустотой.

Между рамами окна всегда свежий виноград. И он, как почта, как и телефон, как всякий пришедший, напоминает о больнице, и мы все как бы живем при ней, в вестибюле ее вестибюля.

Ноябрь на исходе. Идет снег, идет им. Пока им, а не за ним. За ним он придет позднее. Мне пока в Союзе не сообщают о приговоре диагноза. И я пока уношусь на легких белых пушистых хлопьях в притагильский-висимский летучий и пахучий черемуховый снежный лес.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНЬЕ

За угловым окном на Мерзляковском и на Скатертном и в этот день шел снег. Шел он и на улице Воровского. Туда, в дом 52, где по роману Толстого «Война и мир» жили Ростовы и где теперь помещается правление Союза писателей, по телефону пригласили меня. Я шел туда настороженно, еще не зная, что там скажут.

Меня попросили, как «мужественного» человека, осторожно и исподволь подготовить семью Бажова и быть готовым самому к неожиданному, которое не исключено.

Как богат русский язык иносказательными недоговоренностями!

Готовить Валентину Александровну не пришлось, как и дочерей.

Она исподволь готовила нас и своих дочерей к возможному, но о черных платьях и не помышляла, не позволяя трауру быть холодно дальновидным и оскорбительно предупредительным. В чудо не верили, но еще надеялись.

Надеялись, напрягая все нравственные силы. Без дочерей Валентина Александровна давно уже подолгу молчала, положив голову на плечо моей жены.

Было о чем помолчать в эти короткие ноябрьские дни.

В конце ноября Павел Петрович часто стал впадать в забытье. Валентина Александровна и ночью не покидала больницы. Она поселилась там.

Мы пришли с Нилиным Павлом Филипповичем второго декабря. Павел Петрович не разговаривал.

Я последним зашел в последнюю в его жизни комнату. Обнял его. Обнял и он. Поцеловал. Мне показалось, его губы ответили тем же. Мне послышалось, что он тоже что-то сказал мне. Но, может быть, послышалось. Я сказал: «До свиданья».

На другой день, 3 декабря 1950 года, в 8 часов 55 минут, Павел Петрович ушел из своих сказов, которые писались и не дописались в его мечтах...

ЖИВЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ

«Все исчезает — остается пространство, звезды и певец».

Не знаю, чье это не очень точное выражение очень настойчиво повторяется в моей голове.

Машинка, на которой писалось столько сердечных писем

Павлу Петровичу, пишет теперь некролог. Подобного на ней никогда не выполнялось.

Руки в разладе с головой, голова — со всем окружающим. Мрачно в нахмурившихся комнатах и без того темной нашей квартиры.

Нужно написать в манере и размере общепринятого. Это же не частное письмо о горести смерти, а информационно-траурное оповещение миллионов людей о жизни и кончине выдающегося художника, государственного деятеля и большого человека.

Анна Александровна Караваева и кто-то еще тоже в этот час пишут скорбные проекты публикации, которая повторится многими газетами страны и всеми газетами Урала, а до этого пройдет перед десятками глаз. Написанного коснутся перья друзей Павла Петровича и официальных лиц, чтобы каждая строка до запятой стала достойной умершего. И кажется, все еще сидят в нашей столовой друзья и знакомые Павла Петровича.

В тишине и молчании частые звонки заставляют вздрагивать.

С обкомом уже выяснено о месте и времени похорон.

В Москве состоится прощание с Павлом Петровичем и гражданская панихида. В Свердловске завершится последний путь до могилы.

Снова звонок. На этот раз дверной. Приходит Арий Давыдович Ротницкий. Он всегда приходит в писательские квартиры в таких случаях. Его необычная и подвижническая миссия началась еще в Ясной Поляне с похорон Льва Николаевича Толстого и продолжалась в Литературном фонде. В сферу его тягостной деятельности входит почти все, связанное с похоронами.

Арий Давыдович краток. Ему нужно узнать, какие будут надписи на лентах венков от семьи и какими должны быть сами венки.

Живые остаются живыми и в заботах о мертвых. Ритуал похорон тоже требует своих уточнений.

Живые должны жить...

Почтальон приносит не читаемые пока телеграммы соболезнования из разных городов. Видимо, слухи и на этот раз опередили газеты.

Давно ли... Давно ли сюда же, в эту же квартиру, Павлу Петровичу приходили октябрьские поздравительные телеграммы. И тоже, кажется, недавно приходили телеграммы и на Чапаева, 11, в день шестидесятипятилетия. Они тогда читались

вслух. Всем было весело. В моих ушах слышится шум разноголосого застолья, видятся пенные бокалы с надписями: «Дорогое имячко», «Каменный цветок», «Хрупкая веточка»...

Давно ли?

Маша что-то жарит или печет на кухне. Дочь помогает ей. Опекающая нас, повидавшая бед солдатская мать Авдотья ушла на Палашовский рынок. Она сказала, уходя:

— Слезы слезьми, а без обеда нельзя...

Стены слушают и тоже молчат. Разговаривают, позвякивая, ножи и вилки. Какая-то из дочерей Павла Петровича, Леночка или Лёля, подтверждает, взволнованно накрывая стол, сказанное Авдотьей.

Виноград продолжает безмолвствовать, перейдя в вазу. Нема и «Малахитовая шкатулка» в последнем прижизненном ленинградском издании, с последней дарственной надписью Павла Петровича. В книге последняя записка ко мне из больницы. В передней последняя его пыжиковая шапка-ушанка. Теперь все последнее...

Теперь все последнее в этот первый день его второго цветения.

ВТОРОЕ ЦВЕТЕНИЕ

Тихо отплакали скрипки в конференц-зале на улице Воровского, 52. Освобожденные от черного крепа зеркала снова отражают живых. Снято покрывало с красивой статуи в нише устья лестницы, ведущей на бельэтаж дома. Мраморная женщина, утверждая жизнь, снова обнажена. Сняты ватманские листы, извещавшие в черных рамках о смерти.

Закончилось последнее, более чем сорокадневное пребывание Павла Петровича в столице, остающегося в ней улицей его имени — улицей Бажова.

10 декабря 1950 года уральцы хоронили своего незабвенного сказочника. Никогда еще за всю историю Екатеринбурга и Свердловска не было такой многолюдной и скорбной процессии. Горожане и приехавшие делегации заводов, колхозов, учреждений демонстрировали любовь к своему певцу, подтверждали сказанное Павлом Петровичем: «Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется».

Изречение, перешедшее на временное надгробие оценивающей формулой прожитого и эпиграфом бессмертия.

Повторяю старую истину о том, что не всегда отношения

между людьми заканчиваются после ухода из жизни одного из них.

Мои отношения с Павлом Петровичем продолжались и по роду неизменности моих чувств к живущему в людских душах, и по высокому общественному поручению: я был назначен вторым лицом комиссии по увековечиванию памяти Павла Петровича. Так что наши отношения не прекратились и не прекращаются, если, в частности, эту книгу мне будет позволено считать продолжением наших долгих, добрых, дружеских отношений. Хотя...

Хотя другие это сделали до меня и, наверно, успешнее, глубже, фундаментальнее. Но кому что дано, и кто что может. Одни увековечивают монументально и многостранично. Другие жизнерадостного рассказчика, лирического сказочника, ритора, полемиста, автора повестей, согретых теплом юмора, пытаются увековечить в его же литературных жанрах. Так повелось на Урале: любившего жизнерадостное жизнерадостно и поминают...

Кто знает, какие из литературных поминаний скоротечнее, какие — долговечнее. Во всех случаях это решает тот «дальнемер», о котором упоминал Павел Петрович в своих письмах и в устной речи...

Будем надеяться на лучшее. Впереди у Павла Петровича еще много книг, диссертаций, очерков о нем и его творчестве.

Личность писателя, его биография, его душа, разум, сердце, мышление, чувства, идеи — это книги и все, что написано им. Не прибегая к красивостям, не становясь на котурны, скажем, что позднее цветение Павла Петровича и второе, посмертное, для широкого круга читающих Бажова — неразделимы.

Он остался в написанном им.

Таким он живет среди нас теперь, в огромном и разноликом мире.

1973—1977 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тетрадь первая
„Малахитовая шкатулка“ 5

Тетрадь вторая
До „Малахитовой шкатулки“ 28

Тетрадь третья
Бажов дома 53

Тетрадь четвертая
Каслинская табакерка 63

Тетрадь пятая
Ненаписанные романы 77

Тетрадь шестая
Юбилейная неделя 96

Тетрадь седьмая
Из эпистолярного наследства 108

Тетрадь восьмая
Пешком и на колесах 127

Тетрадь девятая
В искусстве и об искусстве 144

Тетрадь десятая
Критик, историк, публицист 156

Тетрадь одиннадцатая
Широкий круг 177

Тетрадь двенадцатая
Второе цветение 194

❀ ❀ ❀

Евгений Андреевич Пермяк

ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР

Очерк творчества

ИБ № 3498

Ответственный редактор
А. С. Ляуэр.

Художественный редактор
И. Г. Найденова.

Технический редактор
И. П. Савенкова.

Корректоры
В. В. Кудинова
и *Е. И. Мартынова.*

Сдано в набор 29/XII 1977 г. Подписано к печати 4/IX 1978 г. А00547. Формат 60×84 1/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,02. Уч.-изд. л. 11,7+8 вкл.=12,43. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1759. Цена 80 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Пермяк Е. А.

П 27 Долговекий мастер: Очерк творчества/Оформл. Ю. Жигалова.— Изд. 2-е, доп. и переработ.— М.: Дет. лит., 1978.— 207 с., фотоил.

В пер.: 80 к.

Жизнь и творчество Павла Петровича Бажова в рассказах, очерках, письмах. Издается к 100-летию со дня рождения писателя.

П $\frac{70803-365}{М101(03)78}$ Без объявл. 8Р2






80 коп.